

Восьмиэтажный дом наш на Хамовническом валу торцом глядит на врата Новодевичьего кладбища. Поздней осенью, когда ветер сшибает с деревьев пожухлую листву, с балкона в морской бинокль хорошо видны надгробия. Прошлой осенью у меня гостил старый друг Левон Горгинян. Глянул в окно и говорит:

— Гришка, как ты здесь можешь жить? Всякий раз удивляюсь.

— Нормально. Такая близость настраивает на философское осмысления бытия.

— Не знаю, не знаю... Я себя чувствую сейчас дезертиром с кладбища.

Март стоял дурной — результат глобального потепления климата. Снег сошел, кое-где в сквере на Усачевке среди прошлогодних листьев пробилась трава, на кленах лопнули почки, у голубей съехала крыша: гуляют, притоптывают перед подружками. Студентки-медики ходят с голыми пупами, милиционеры перешли на весеннюю форму одежды. В конце января

Маша в очередной раз улетела в Колумбус. Считается, переждать кислую московскую зиму — от Колумбуса до Флориды рукой подать, а там океан, пальмы, песок и ураганы с женскими именами. Третью неделю я свободен как птица. Только эта свобода мне ни к чему. Свобода не может заполнить пустоту, образовавшуюся внутри. День мой состоит из самых необходимых для поддержания живучести организма действий. Лишь иногда в мою пресную, как армянский лаваш, жизнь, врываются иные события, чаще всего это похороны друзей, однокашников, бывших сослуживцев. Что, впрочем, неудивительно. Время.

С Левонем я корешу с нахимовского. Когда нас, стриженных под «ноль» пацанов, построили в коридоре училища, я оказался рядом с чернявым пареньком, голова у него была дынькой, и сам он бледный, дохленький. «Ты откуда приехал?» — спросил я. «Местный, питерский». — «Я думал, из Грузии». — «Никогда там не был».

Наш испуганный шепоток прервал львиный рык командира роты: «Э-э, разговорчики в строю! Э-э, слушай сюда!»

В ту пору Левончик был одного роста со мной, это потом на казенных харчах я вымахал за метр восемьдесят и стал правофланговым в роте. Койки наши тоже оказались рядом. Разбирая постель перед сном, чернявый сказал: «Меня Левон зовут. Не Левка, а Левон. Ясно?» — «А то! У меня проще — Гришка!»

— Наколку сам делал? — Левон ткнул тонким длинным пальцем в мое левое предплечье.

— Не-е, пацаны.

В умывальнике, глядя на синюю, в желтых пупырышках грудь соседа по койке, на его тонкие, как у паучка, руки, я спросил: «И что тебя в нахимовское качнуло?» — «Папка настоял. Сам бы я ни за что!» — «А мать?» Левон опустил голову: «Померла мамка». — «Ништяк, прорвемся. У меня вообще никого, кроме двоюродной тетки».

Первые месяцы в нахимовском дались Левону тяжело, раза два я слышал по ночам, как он плачет, уткнувшись носом в подушку. Мне-то что, я — капотнинский, вырос в бараке, где селили рабочих с нефтеперерегонного завода и речников из Южного порта. В ту пору Капотня была поселком, примыкавшим к столице. Считайте, рос на природе. Окна барака глядели на желтую полоску Москвы-реки, по которой буксиры-толкачи проводили сухогрузные баржи и ржавые лайбы с песком и мусором, а на противоположном берегу, на высоком угоре, белела церквушка без креста, лепились домишки деревни Беседы. Слева, за мостом, шлюз, а перед ним заводь с кувшинками и лапчатыми листьями на черной воде. В низине на нашем берегу капотнинские рыбаки держали самодельные лодочки, а потом, через несколько лет, там выросла лодочная станция.

В шесть лет я научился плавать, а в семь уже с пацанами на плоскодонке выгребали в заводь перед шлюзом, рискуя попасть под форштевень проходящих судов.

К тому же оказалась, что Левон — профессорский сынок, отец его, капитан первого ранга, возглавлял кафедру в Военно-морской академии. Неужто профессор не мог поднять своего хилого сынка без помощи государства? Видать, жлоб еще тот.

Левон через полгода обвык, притерся. И насчет отца я оказался не прав. Аршак Мартиросович оказался человеком мягким, добрым, ростом чуть выше десятилетнего Левончика, лысенский, настоящий профессор

из анекдотов. Не верилось, что в финскую кампанию он плавал на линкоре «Октябрьская революция», пережил ленинградскую блокаду — с линкора наши били двенадцатидюймовыми снарядами по немцам. Войну закончил в Порт-Артуре, командовал крейсером на Тихоокеанском флоте, вернулся в Ленинград, защитил кандидатскую, а потом и докторскую диссертацию.

В квартире Аршака Мартиросовича в многоэтажном доме с башенкой на Московском проспекте неподалеку от Парка Победы перебивал весь наш класс. За хозяйством приглядывала тетка Левона, двоюродная сестра отца, полная женщина, одетая всегда в черное, — вся семья ее погибла во время войны.

Нас, нахимовцев, она всегда встречала приветливо, в просторной гостиной накрывала на стол и следила, чтобы мы как следует ели. Мне еще никогда не приходилось бывать в таких домах: резная, на гнутых ножках мебель, картины, пианино, телевизор, много книг и различных вещей из Японии и Китая. Был даже самурайский меч, самый настоящий. Левон утверждал, что меч в воздухе рассекает бумагу. Мы не пробовали, а вот китайские сигареты тайком курили.

В нахимовском училище я учился кое-как, пятерки были только по математике и физике, с русским и литературой дела шли плохо, плелся на троечках, читал мало, и интерес к литературе появился лишь много лет спустя. А Левон шел круглым отличником — все предметы давались ему легко, раза два он побеждал на областных математических олимпиадах. Кликуха у него была соответствующая — Пифагор.

«Питоны» — так называли нахимовцев, которые малолетками поступили в училище, — в основном ребята, потерявшие в войну родителей, для которых казенный кошт стал единственным шансом выжить, не скурвиться и получить образование. Профессорских сынков и морских начальников — единицы. Позже в училище стали набирать ребят постарше, уже с седьмого класса, права носить высокое звание «питон» они не имели и именовались просто воспитанниками или нахимовцами.

Обстановка в училище царила сурово-дружелюбная. Истеричным дамочкам из сообщений солдатских и матросских матерей и разного рода блюстителям прав человека, дня не прослужившим в армии, порядки в училище тех времен показались бы жесткими. Нахимовцы не только учились, но и стояли в нарядах, участвовали в повседневных и авральных приборках, чистили картошку огромными лагунами, а вечерами печатали шаг и пели строевые песни. Из нас бережно, но твердо готовили мужчин, воинов, а не хлюпиков; «отмазаться» от армии считалось позором.

Имена и прозвища преподавателей и прямых начальников помню до сих пор. И оттуда, из затянутого дымкой далека, до меня доносится голос командира нашей роты, фронтовика, капитана третьего ранга Кокшева по прозвищу Кока: «Э-э, Старчак, что ты ползешь, как вошь по мокрому пузу? Гляди веселей, свисти соколом!»

Кока научил нас, огольцов, заправлять койки, держать иглу, гладить, швабрить палубу, бриться — кроме него научить нас было некому. Он многим заменил отца, мать, дедушку и бабушку, и именно от него мы, старшеклассники, узнали, что сделать, чтобы во время увольнений в город «не намотать на винт», и, вообще, как вести себя с дамой.

Наши командиры и учителя готовили нас к жизни, для нас не был пустяком марш юных нахимовцев: «Простор голубой, земля за кормой, гордо реет на мачте флаг Отчизны родной», и в десятом классе нам не

нужно было ломать голову, куда поступить учиться. Я твердо решил: только в Высшее военно-морское училище имени Фрунзе и только на штурманский факультет. Левончик выбрал Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени Попова. Друга привлекали тонкая техника, вычислительные машины и новые технологии. Посверкивая антрацитовыми глазами, Левончик насмешливо говорил: «Это раньше мореплаватели поплевал на пальчик, глянул на светила и определился с дикой погрешностью, сейчас без навигационных систем, ЭВМ шагу не шагнешь. Вам что? Стой на мостике и изображай из себя Колумба. Одно слово — водила!» — «Не зарывайся, Левон, — осаживал я друга, — командир — наиглавнейшая фигура на флоте: каков командир, таков и комфлотом и даже главком. А ты кем станешь? Бычком. В лучшем случае — флагсепцом эскадры, каперангом. По твоей специальности адмиралом хрен станешь». — «Я в науку пойду, Гришка, с противником разными средствами бороться можно. Да и нужно же кому-то вас, недоумков, учить, снабжать новой аппаратурой».

2

Отсутствие жены дает мне некоторые преимущества. Теперь вечером, как следует утепившись, натянув старую, еще командирскую куртку и валенки покойного тестя, могу подолгу сидеть на балконе. Балкон — моя последняя боевая рубка. Угрюмая беззвездная темнота дымного неба снизу подсвечена миллионами огней гигантского мегаполиса, они роятся в розовой мгле, перемигиваются между собой. Если взять бинокль, можно различить светящиеся линии — магистрали, по которым струятся светящиеся точки, на юго-западе огни разбросаны горстями, часть из них как будто висит в воздухе. Слева проступает подсвеченная пирамида МГУ с красной точкой на маковке.

Вечерняя столица гудит, потрескивает, глухо рычит. Чуть раньше, когда школьников младших классов еще не загнали домой, гул ворочающейся во мгле столицы простреливают взрывы петард — следствие китайской экспансии, потому как все эти трещалки изготавливаются в массовом порядке в набирающей силу Поднебесной. Раза два в неделю, уж никак не меньше, небо над Воробьевыми горами озаряется причудливым фейерверком, тупо долбят орудия — сотрясаются оконные стекла, звенят фужеры на полках серванта, во дворе испуганно лают собаки. Многовато для наших многочисленных праздников. Сосед по лестничной площадке пояснил мне, что новые хозяева жизни салютом отмечают свои корпоративные праздники и свадьбы.

От легкого морозца каменеют скулы, сухая крупка сечет лицо, я и в самом деле на мостике подводной лодки, входящей в Видяево, только огней многовато, кажется, я даже слышу равномерное постукивание дизелей, и порывы ветра доносят кислородный запах дизельного выхлопа.

В полночь позвонил Левону. Он — сова, работает по ночам. На кафедре у него два присутственных дня в неделю, в остальное время он дома, пишет учебник. Недавно вышла монография, написал ее Левончик, но к нему прицепили еще двух авторов из начальства, иначе книгу не пробить. В семьдесят Левон не снижает темпа, у него расписан каждый час. «Эффект юлы, — поясняет мне профессор, лауреат, членкор и прочая, — пока я вращаюсь — стою, кончится энергия вращения — и я свалюсь».

Левон взял трубку сразу, словно сидел у телефона и ждал моего звонка.

— Привет, Левончик! Как жизнь?

— Замечательно. Вчера вечером в подъезде обнаружили труп, выступаю теперь свидетелем. Часа полтора давал следственные показания.

— Труп — обычное в наше время дело. По-прежнему один кукуешь? Или бабу завел?

— Пошляк ты, Гришка. К сожалению, этот вопрос давно уж так не стоит. За мной приглядывает, готовит, обстирывает соседка. Ты должен ее помнить. Маленькая такая девочка, хохотушка с косичками. Всегда кричала нам: «Моряк, с печки бряк!»

— Господи, и она тебя терпит?

— Кретин! Ирина Вячеславовна вдова, одинокая учительница на пенсии. Какая пенсия у школьных учителей, знаешь? А так наш симбиоз дает взаимные выгоды. Одно плохо: она занимается моим воспитанием. Скоро буду писать диктанты. Лучше скажи, Машка опять улетела в Колумбус?

— Как обычно, сижу один. И Ирины Вячеславовны рядом нет. Когда приедешь?

— Не раньше, чем через три месяца. Состоится сессия Академии наук.

3

В кабинете — так называлась бывшая наша с женой комната — на стене среди фотографий родных и близких висит увеличенный портрет моего отца. Он в форме речника, улыбается. Улыбающимся я видел его редко.

Мать я почти не помню — нечто теплое, ласковое. И еще в памяти остался запах оладий — мое любимое блюдо. В последнее время Маша редко балует меня оладьями, я стал грузнеть, а это, по утверждению жены, вредно для сердца. В семьдесят все вредно: есть, пить, не говоря уже о других земных радостях. Матери не стало, едва мне исполнилось четыре года. Отец, вернувшись с войны, разыскал меня в детском доме под Костромой, куда нас, огольцов, эвакуировали в сентябре сорок первого года. Детдомовский период почти выпал из памяти. А что вспоминать? Голодуху, чужую ношеную одежку, драки в умывальнике из-за куска хозяйственного мыла? Биография моя началась с того момента, как мы с отцом сели на пароход, у которого на носу еще стояла пушечка, правда, уже без снарядов. В дороге я объелся американской тушенки, и батя отпаивал меня кипятком.

Отец оказался однолюбом, не привел в дом мачеху, нас, мужиков-отломышей, окружили заботой обитатели барака, где гуляли все сообща, дрались, ругались и все же жили одной семьей. С тех времен стал я ценить людскую доброту, которая нынешним москвичам неведома.

Про войну отец говорил неохотно, и то, когда выпьет.

— Эх, Гриша, ведь и рассказывать нечего. Буксир мой включили в Волжскую флотилию, пулеметик на палубе поставили, так, пукалка, больше для звука. Под Сталинградом такая заваруха была — страх. «Мессера», как коршуны, наседали, вода кипела. — Отец шевелил густыми бровями, отрешенно глядя в угол. — И вот что удивительно. Рядом маломерные суда и пароходы побольше в клочья рвало, а у нас лишь пробоины от крупнокалиберных пулеметов. Убитые были, как им не быть, а буксирчик мой на плаву оставался, будто заговоренный. Потом на Дунайскую флотилию перекинули, десанты высаживал... Ранили, в госпитале чуть ноги не лишился. Да что гуторить, повезло, жив остался.

Рейсы в навигацию длились неделю, а то и две. За мной присматривала соседка, старуха из бывших монахинь. Умер отец скоропостижно, стоял в рубке, ждал разрешения на прохождение шлюза — и вдруг осел, стал соскальзывать по переборке — сердце отказало. Кореша потом говорили: «Повезло Алексею. Настоящая капитанская смерть».

Меня приютила дальняя родственница по материнской линии, до того видел я ее раза два — тетя Шура работала проводницей, моталась на поездах по всей стране. Так я оказался в огромном доме у станции метро «Студенческая». Станция тогда еще строилась, с балкона видны были груды рыжего грунта, а дальше, в дымке, проступали сооружения Киевского вокзала, слышно было тяжелое громохание поездов, которое временами перебивал пронзительный крик маневрового паровоза-«кукушки». Тетя Шура и помогла мне поступить в нахимовское училище...

Сказать по совести, я, как и Левон, в двадцать первом веке чувствую себя неуютно. Мой век — двадцатый, и лучшие годы в нем — середина пятидесятых-начало восьмидесятых. Та самая «оттепель», плавно перетекшая в «застой». Ни «оттепели», ни «застоя» я не заметил. Я просто жил.

Курсантские годы — золотая пора. Мы, «питоны», особой разницы с нахимовским училищем не почувствовали, привыкли к дисциплине, порядку, казарменной жизни, а вот ребятам, пришедшим с гражданки, со школьной скамьи, в первые месяцы пришлось туго.

Память удерживает только хорошее, светлое, а то, что похуже — неудачи, провалы — укладывается на самом доньшке, чтобы однажды, в горький час, когда придется подводить итоги, проявить себя. Но ведь когда это будет? А пока на тебе суконная форменка, ладная бескозырка, перешитая известным портным Абрамом Моисеевичем, а на плечах погоны с белым кантом и золотыми якорями на черном фоне, ты молод, полон сил и живешь предощущением счастья.

За окном серо, смутно, в этом выстуженном пространстве гулко, как в пустую цистерну, каркают вороны. Интересно, как сейчас в Колумбусе? Маша набрала с собой весеннего барахла, ей светит поездка во Флориду — там нужно выглядеть соответствующе, на каждом шагу миллионеры и кинозвезды. Несмотря на возраст, она еще может себя подать, носит туфли на высоком каблучке и джинсы в обтяжку. Из зарубежных стран был я только в Сирии, две недели простояли в ремонте в Тартусе во время боевой службы в составе пятой оперативной эскадры. И не тянет.

Дом наполнен утренними звуками: потусторонними голосами рыдают водопроводные трубы, в стояках рушатся потоки воды, прошивающие насквозь все этажи, кое-где бормочет радио. Войлочную глухоту небес внезапно разрезает солнечный луч; показав свою несостоятельность, он тут же угасает, но все же на мгновение успевает высветить морской позолоченный кортик на стене кабинета.

...Выпускной бал в Зале революции, золотые якоря и погоны парадных тужурок, бальные платья девушек, скользящие фигуры танцующих, разгоряченные лица одноклассников, кое-кто уже принял на грудь и за показной хмуростью пытается скрыть испутившееся на душу блаженство.

Любимые преподаватели и нелюбимые строевые начальники, известные всему флоту мичмана и адмиралы, юные библиотекари и нестаревшие поварахи — все это взметено, закручено в вихре вальса, скользит, висит в воздухе, чтобы на другой день осыпаться искристыми воспоминаниями, перебиваемыми похмельной головной болью.

Меня распределили на подводную лодку Северного флота в Полярный — там я мичманом проходил стажировку и знал все прелести закрытого гарнизона. Дружок мой, Левон Горгинян, отличник и золотой медалист, имел право выбора, однако Северу не изменил, напросился на атомоход, только что спущенный со стапелей и готовящийся к государственным испытаниям. Пути наши надолго разошлись.

Тот, кому довелось служить на средних лодках 613-го проекта, знает, что это такое. На всю жизнь в ноздрях застрянут запахи железа, мокрой резины и дизельного выхлопа. Во втором отсеке стол, над ним софиты, на этом столе в случае необходимости доктор будет нас резать, отсекая ненужное. В надводном положении во время качки тарелку со щами на столешнице не удержать, елозит, норовя обдать горячим варевом соседа, а в случае резкого дифферента на корму — и такое бывает — створки посудного шкафчика распахиваются, тарелки и кружки превращаются в летательные аппараты, и горе тому, кто попадет в зону их воздействия. Я уже на третий день похода получил тарелкой по кумполу и ходил с героической повязкой.

Одна из важнейших задач штурмана — уточнить место корабля: без этого ты не штурманец. Гукнет голос командира из динамика «Каштана», и ты с секстаном, как акробат на трапеции, уже балансируешь на трапе, а в мыслях одно: скорее бы на мостик и успеть схватить звездочку, пока небесные светила не заволокло снежной моросью. Желательно при этом определить, что это за звезда, и лучше, когда она не одна, а несколько. Далее следует успеть совершить ряд действий, пока лодка не пошла на погружение.

Но это что: в крайнем случае, тебя разок волной ополоснет, и будет, а вот ребятам на верхней вахте приходится круто. Водолазное белье, «канадка» и поверх всего химкомплект защищают от мокряди относительно, особенно в шестибалльный шторм. А если волна величиной с поморскую избу — крепенький такой пятистенок — заходит с кормы, тут бабочек не лови и рта не раскрывай — стихия приложит твою морду лица об ограждение рубки, и тогда не отчитаешься перед женой или подругой по возвращении в базу, потому как ссадины очень напоминают царапины от женских коготков.

Рубочный люк задраен, чтобы не залить центральный пост, и ты на какое-то время оказываешься по пояс в воде, чувствуя, как ледяная влага добирается до жизненно важных органов. В сильный шторм вахтенных привязывают к тумбе перископа, чтобы не смыло в море. По молодости ничего, а с возрастом все эти холодные купания отзовутся, да еще как. Компенсация относительная, хотя по тем временам и солидная: пересек условный рубеж Тронхейм — мыс Брустер в Гренландии, получи надбавку — пятьдесят процентов морского довольствия. Да ведь что деньги для холостого лейтенанта в условиях сурового Заполярья? Таксист за лихую езду из Североморска в Мурманск сдерет изрядную сумму, а если повезет, и ты проведешь вечер в ресторане «Ваенга», да снимешь девочку, — тут твое финансовое положение и совсем пошатнется. А ежели сподобишься в отпуск, все твои полярные надбавки поистауют в сладком дурмане, и тогда прямой путь на телеграф, отбить «SOS» друзьям, чтобы выручали, ибо моряк-подводник без денег в любой точке огромной страны — фигура нелепая и даже жалкая.

Во вторую автономку ходили в высокие широты с медиками, учеными из НИИ, те какие-то датчики апробировали и проводили испытания

бактерицидного белья, тельняшек и голубых кальсон. Классная вещь! Можно не мыться и не умываться. Протер ваткой со спиртом физиономию, и порядок. Только кто же на такие дурные надобности продукт изводит? Спирту есть другое, куда более важное применение. Ребята мне два комплекта этого белья подарили, девкам очень нравилось.

Отпуск проскочил незаметно. Махнул сначала в Ленинград, думал, Левончика застану, тот уехал за день до моего прилета. Вернулся друг в Северодвинск до срока, его атомоход уходил в Западную Лицу. Левон сорок суток просидел в библиотеках, сдавал кандидатский минимум, и сдал. Я на такие подвиги не способен. Аршак Мартиросович предложил пожить у них, я поблагодарил и отказался, в отпуске я предпочитаю одиночное плавание. Снял номер в гостинице «Октябрьская», оторвался по полной программе, дальше в Москву, к тетке. Ее что-то разнесло, ходит с одышкой, но работу бросать не собирается. Ни с того ни с сего о загробном мире заговорила, о завещании, а ей только шестьдесят стукнуло.

Вернулся из отпуска — сразу в море. В базу пришли крепко побитые штормами; не успели почистить перышки, как навалилась береговая муть: комплексные проверки, строевые занятия, дежурства, политзанятия и уж полная глупость — социалистическое соревнование. Люди зверели от всей этой рутины, особенно доставалось холостякам. Матросов веди в кино, в баню, мотайся в Североморск в комендатуру за разгильдяями, задержанными патрулем. Да мало ли? А полярная ночь давит плитой, снежные заряды бьют наотмашь, в небе дрожат сполохи, наводя на мысли об инопланетянах и о бренности жизни. А жизнь требовала любви, молодая кровь кипела. А где, скажите, раскрутиться холостяку? В Доме офицеров флота все свободные дамы наперечет, со многими я уже успел временно породниться, а хотелось свежачка, чтобы «дыша духами и туманами» — да где они, блоковские незнакомки? В Полярном зверствуют сухой закон и женсовет, блюдя нравственность; в Североморск так просто не выскочишь, да и там, скорее всего, получишь облом. А голубая мечта — столица Заполярья Мурманск с доступными ресторанами и еще более доступными женщинами — за чертой реальности.

Сижу я как-то в служебной комнате, пялюсь в окно, в котором отражаются плафоны, входит старпом Егорыч и спрашивает:

— Тоскуешь, штурманец?

— Тоскую.

— Ладно, я дам тебе послабление. Отправляйся после обеда в Североморск, раскрутишься там на полную катушку, а на другой день трезвый и чистый, как цейсовское стеклышко, дуй в Мурманск на вокзал, встретишь жену минера, минер, как тебе известно, ждет наладчиков из «ящика». Жена при ребенке. Так что напряги свою тыквочку — такси, цветы, игрушки, все за твой счет. За свободу и за удовольствия, штурманец, нужно платить. Как?

— Служу трудовому народу. А жена-то у минера ничего. Мы знакомы.

— Учти, я свидетелем на их свадьбе был, потому в случае чего я тебе яйца рубочным люком прищемлю. Усек?

— Куда уж яснее. Форма одежды?

— Парадно-выходная без кортика, звездочет хренов. Отпускной и пропуск для семьи получишь у писаря. А теперь сгинь с глаз долой, а то я передумаю.

Какой там обед, какая там полярная ночь, какие снежные заряды и прочие выверты неласковой природы! Я стуктом энергии скатился с об-

леденевших деревянных трапов, грохот моих шагов эхом отлетел в сопки, погас, в расчетное время достиг я Чан-ручья и через полчаса уже пересекал залив на катере, взрезавшем форштевнем дегтярно-черную воду. Море соединилось с окружающей средой, поэтому временами казалось, что суденышко, забитое счастливцами, медленно тянется по небу. А впереди весело посверкивали огоньки Портопункта, рядом громоздились корабли эскадры, подмигивая стояночными огнями, дальше лежал Североморск, светлые точки роились по сопкам, взбираясь вверх и теряясь в распадах.

Ступив на суровую почву главной базы флота, следовало незамедлительно собраться, сосредоточиться, оглядеть себя внутренне и внешне, чтобы не было ни одной зацепочки для острого взгляда старшего комендантского обхода. Не то вместо земных радостей тебя ожидает унылая разбираловка в комендатуре, где, как во всяких худых казенных местах, всегда разит хлоркой, клопомором и безнадежностью. За лейтенантами ведется прицельная охота, ибо самый младший чин на флоте всегда является потенциальным нарушителем дисциплины и общественного порядка.

При моем росте сложно укрыться на ярко освещенной улице Сафонова, потому двигался я задворками, мелкими перебежками от дома к дому, цель — ресторан «Ваенга».

С официанткой Ларисой у меня уже год тянулся вялый, с периодическими обострениями, роман, и ее, и меня такая форма отношений вполне устраивала. Лариса, черноглазая, полнеющая красавица, прикатила в Заполярье в поисках мужа. Везло ей не очень, уже два раза в ее паспорт ложился жирный штампель ЗАГСа, но мужики попадались квелые, склонные к выпивке, а ее организм требовал утех значительных и энергичных, пусть даже с перерывами. Я ей, похоже, глянулся, хотя особой перспективы она во мне не видела. Подружка моя, работая официанткой, училась на заочном отделении в Институте советской торговли и имела однокомнатную секцию, доставшуюся ей от последнего горемыки-мужа.

Я был встречен ласковой улыбкой, накормлен обедом по высокому разряду; Лариса, забирая мои тарелки, горячо дохнув в мое ухо, шепнула: — Гришик, ключ от квартиры под меню. Ополоснись в душе и жди. Я подменяю. Никому дверь не открывай и на телефонные звонки не отвечай.

— Бу сделано.

Я вывалился в полярную ночь. Тотчас, ожидая меня, грянул снежный заряд, город словно мокрой простыней накрыло, двигаться пришлось на ощупь и руководствуясь штурманским чутьем. Минут через десять я уже взбирался по деревянной лестнице на сопку, встречая фигуры, залепленные снегом.

О, радость тепла и света, запах обжитого жилья, уюта, когда даже стоптанные женские шлепанцы после длительного воздержания вызывают неукротимый подъем душевных и физических сил.

После холодной «камеры» в общежитии с железными койками под синими флотскими одеялами, с пятилитровым графином с желтой водой на казарменной тумбочке, кэчевским столом с биркой, на котором отливала латунью срезанная гильза от крупнокалиберного снаряда, служившая пепельницей, однокомнатный рай казался вершиной счастья.

Что и говорить, оторвались мы с Ларисой на все сто. Умела она все обставить должным образом. И музыка, и стол, и даже что-то вроде стриптиза с черными итальянскими чулками на подвязках — такие раздобыть

можно только у знакомых моряков, ходивших в загранку. Последнее — уже перебор. Меня взбадривать не нужно, я и так был повсеместно бодр и всегда находился в полной боевой готовности. Но игра есть игра.

С женой минера, Валентиной, я был знаком по дружеским застольям, знал и пятилетнюю Кристину — резвое пятилетнее дитя, которое тут же протянуло мне лапу в пестрой варежке и сообщило, что бабушка у нее Баба Яга, потому как у нее вставные зубы. Вещей было немного, в сумке уютно и весело побулькивало, да и вес говорил, что радующие душу напитки присутствуют.

— Ты, Валя, с сумкой поосторожней, — предупредил я. — На КПП в Североморске генеральный шмон устроили. О шлагбаум «Столичную» расколоти, варвары. Понесешь сама, сверху положи что-нибудь интимное, женское.

Валентина сверкнула глазами:

— Подскажи.

— А я знаю? Лифчик, трусики, что еще? Шмональщики постесняются сунуться.

— Распутный ты тип, Гришка.

— Ой, распутный! — весело заорало, топоча ножками, гарнизонное дитя.

С таксистом я заранее сговорился. Дал задаток. А с цветами вышел прокол. Снежная метель выдула с мурманского рынка кавказцев, торгующих тронутыми морозом цветами. Печальное зрелище являл собой заполярный рынок: пустые ряды, рыжие ледяные надолбы, горстка краснолицых старух, предлагающих семечки, сало и носки ручной вязки. У гальяона на ветерке приплясывал известный всему городу бич Степа Борщ, крепко уже поддатый, в драном тулупе, раздолбанных валенках с резиновыми галошами «слон». Про Степу гуляла такая байка: вроде бы пристроился он у сугроба отлить, рядом встал с той же целью матрос с сухогруза, дернувший из больницы по острой надобности — нужно было купить бутылку. Утром ему обследовали почки, ввели в вену контрастное вещество, короче, струя у него получилась густо-синего цвета. Степа Борщ глянул и оторопело спросил: «Кореш, чем это ты опохмелялся?» — «Медным купоросом», — хмуро отвечал мореман. «Ё-моё! Все пил, а такого не пробовал! — с завистью просипел Степа...

Вроде как посветлее стало. Поезд пришел вовремя, таксист доставил с ветерком, на КПП дежурили знакомые хлопцы, шмона удалось избежать, а вот обстановка на Портопункте мне не понравилась: на причале копилась молчаливая, угрюмая толпа полярников.

— В чем дело? — спросил я у пожилой женщины.

— А-а, катера нет и неизвестно, когда будет. Учения там какие-то у вас.

Знакомый мичман Изюмов с минно-торпедного склада отвел меня в сторонку и, дыша перегаром, сообщил:

— Хреново дело, товарищ лейтенант. Говорят, две лодки взорвались, четверть Полярного — в пыль, сколько людей полегло — неведомо.

Я помертвел:

— Когда это случилось?

— Сегодня утром, сразу после подъема флага шандархнуло. Я вовремя на торпедолове отвалил. Велено молчать, да вас-то я знаю. Такие пироги с творогами.

Меня передернуло от озноба. Мичману стоило верить, у них, мичма-

нов-сверхсрочников, как и у женщин в гарнизонах, свое радио, своя связь. Комфлотом еще только подумал, а мичмана уже его мысль по всей базе разнесли.

Я изобразил улыбку, чтобы не пугать жену минера, и деревянными губами сложил:

— Все нормально, катер вот-вот подойдет.

Катер и в самом деле минут через двадцать высветился в темноте, к причалу подошел пустой, что было необычно, — значит, из гарнизона никого не выпускают, необычным было лицо и у пожилого капитана, мертвое какое-то, как застывший гипс, лицо, а расхристанный гражданский матросик был изрядно пьян.

Военный народец, жители заполярного гарнизона, сразу учуяли недоброе, попритихли, настороженно глядя во мрак. И дизель катера стучал как-то нервно, будто в лихорадке, и прореженные огни впереди глядели недобро, предвещая беду.

У причала в Чан-ручье встречали усиленные патрули и какие-то люди в штатском, они отгородили нас от причалов и повели окольным путем, охраняя от темного, недобро притихшего пространства. В окраинных домах стекла в окнах были высажены, осколки звонко хрустели под ногами. Волоча на оттянутой руке заветную сумку, Валентина была бледна и все горячечно приборматовала: «Я знала, я чувствовала», а гарнизонное дитя шагало уверенно, громко стуча утепленными сапожками, и на лице девчухи застыло выражение, говорившее о том, что знает она куда больше, чем мы, взрослые. Люди молча рассасывались по омертвевшим домам, исчезая в темных подъездах. Ближе к вершине сопки возникла желтеющая в полярной ночи четырехэтажка, где жили минер и другие семейные офицеры с нашей лодки. Я распахнул дверь, крытую дерматином, — тишина, нежилой дух. В комнате старпома Егорыча, соседа минера, было темно, дверь полукрывается, там — никого, судя по пугающей тишине в доме, семьи, женщины и дети покинули его.

Я поставил чемоданы и, не глядя на Валентину, сглатывая застрявший в горле волглый ком, сказал:

— Обустраивайтесь, я в штаб бригады на разведку. Узнаю, что за хреновина.

Валентина, цепко ухватив меня за руку, обморочно прошелестела:

— Гриша, ты поскорее возвращайся, нам страшно. Как что разузнаешь — назад. Я тебе выпить дам, на стол накрою.

О муже не спрашивала, видно, угадала беду тонко организованным женским чутьем.

Вернуться довелось мне не скоро, на подходе к штабу нагнал я знакомого старлея Сашу Платонова, тоже штурманца с лодки, тот испуганно глянул на меня, отшатнулся, как от выходца с того света, и черными губами сложил:

— Ты, Старчак? А тебя уже списали... Ну, Гришка, долго жить будешь.

В этот момент посветлело, в небо взметнулись сполохи, оранжево-зеленые столбы закачались во тьме над Полярным, обнажая дома с выбитыми стеклами, темные фигуры матросов, спускавшихся по обледенелым трапам.

— Пояснить можешь, что произошло? Я только из Мурманска. Поезд встречал.

— Повезло тебе.

Платонов остановился, пошкрябал в карманах, достал сигареты, прикурил, прикрывая огонь от ветра, — вспышка зажигалки высветила его бледное, осунувшееся лицо.

— Знаю в общих чертах. Особисты все каналы перекрыли, зверствуют. Кругом патрули. Мне с трудом удалось вырваться проведать семью. Баб с детьми оттеснили от причала: вой, гвалт, никакой информации, политотдельцы, как ошпаренные, пытаются погасить панику. Твоя лодка рядом с буки тридцать седьмой стояла?

— Да, вторым корпусом. Ребята на тридцать седьмой в автономку готовились, на днях загрузили боезапас.

— Короче, сразу после подъема флага начали, как обычно, проворачивание оружия и технических средств в электрическую. Рвануло где-то в половине девятого или около того, я на часы успел взглянуть. Буки тридцать седьмую — в лоскуты, сразу затонула, а твоя триста пятидесятая получила пробойну в прочном корпусе и сейчас раком у пирса стоит, с дифферентом на нос. Вроде бы затоплен центральный пост, первый и второй отсеки. Сколько людей погибло — неизвестно. Какой-то раздолбай в это время устроил строевые занятия на причальной стенке — их всех смело взрывной волной, серьезно пострадала торпедно-техническая база. Рассказывают, баллоны воздуха высокого давления с лодки при взрыве летели в сторону жилого городка, но вроде бы дома шибко не пострадала. Медики с ног сбились...

В ярко освещенном коридоре штаба едва не столкнулись с незнакомым капитаном первого ранга, тот слепо глянул на нас и сипло рыкнул:

— Кто такие?

Мы доложились. Каперанг, ухватив меня за лацкан шинели, пригнул к себе:

— Повтори фамилию!

— Старчак. Командир группы БЧ-1. Находился в командировке в Мурманске.

— С триста пятидесятой?

— Так точно.

Каперанг посветлел, достал записную книжку офицера и, что-то вычеркнув обломком карандаша, задумчиво просипел:

— Не хрен здесь торчать. В казармы, к команде, у кого она, конечно, осталась. Как семья, Старчак?

— У меня нет семьи.

— А ты?

— Нормально, дома они. Жена и сын.

— Это хорошо.

Мы с Платоновым выкатились на крыльцо, переглянулись.

— Не могу я сейчас в свою казарму идти, — сказал я, пытаюсь унять прыгающие губы. Я взмок, по спине бежала холодная струя пота.

— Заскочим ко мне домой, тут рядом, у меня бутылка «шила» припрятана. Врежем, а уж потом гори оно все синим пламенем.

Дальше — путаница. Запомнилось, что «шило» — неразбавленный гидролизный спирт, идущий для технических целей, на меня как-то странно подействовал. Вроде бы то, что происходило, было не со мной, а с кем-то другим. Каменные лица уцелевших офицеров, старшин и матросов, запах чеснока и перегара, вялый, какой-то необязательный разговор... Только вечером я вспомнил об обещании, данном Валентине. Ринулся во тьму, по дороге потерял шапку, а когда подбежал к знакомому

дому, наверху, на втором этаже, слышался женский вопль. Так не может кричать человек, так кричит раненое животное. У меня не хватило мужества подняться, я повернулся и, спотыкаясь, побрел прочь. По дороге в казарму беспокоила мысль: «Мне ведь на вахту пора заступать... На вахту. Какая вахта?»

На другой день все более-менее прояснилось, устаканилось, определилось и общее число погибших: сто двадцать два человека.

«Аварийщиков» в управлении кадров не любят, стараются разметать по другим кораблям, спихнуть на другой флот, а еще лучше пристроить, где-нибудь на берегу — «меченый», хотя в большинстве своем невинный народ. Но помогают даже выводы в акте высокой комиссии, где черным по белому отмечено: «В аварийной ситуации вел себя грамотно, проявляя личное мужество».

Мне еще повезло: в бригаде лодок в Ура-губе на одной эске 613-го проекта списали за пьянку командира группы штурманской боевой части, нужна подмена.

4

Ура-губу я толком не успел разглядеть, лодка только-только вернулась из автономки, ее ставили в ремонт, и часть офицеров в срочном порядке отправляли в отпуск. Я даже не успел познакомиться с ребятами, через неделю после прибытия вызвал меня к себе командир лодки, капитан второго ранга Владимир Евгеньевич Бубнов и, весело постреливая черными глазами, спросил:

— Штурманец, ты, оказывается, столичный? Верно?

— Так точно, товарищ командир.

— Отпускной я тебе подписал. Но у меня будет особое задание. Готов?

— Конечно.

— Так вот, отвезешь нашему бывшему комбригу посылку, так сказать, презент. Груз скоропортящийся, лети самолетом, и перед тем, как загулять, отвези посылку к месту назначения. Записывай адрес и телефон.

Я записал.

— Знаешь, где это?

— Найду.

— И искать нечего. Метро «Спортивная», выход в сторону Новодевичьего монастыря, там минут семь ходьбы. Посылку возьмешь у боцмана перед отъездом. Вопросы есть?

— Никак нет.

— Сначала позвони, для приличия. И чтобы вид у тебя был соответствующий: тужурочка, белая рубашка, ботинки первого срока. Комбриг Белов Александр Николаевич добрейшей души человек, но устав блюдет, так что лица не теряй, представь урагубинцев в полном ажуре.

Любимого командира помнишь, как первую женщину. Владимир Евгеньевич был небольшого росточка, но кражист, широкоплеч — бывший штангист. Говорил с одесским вывертом, сдабривая речь крепким флотским словцом. Про него гулял по гарнизону анекдот: вызвал он молодого лейтенанта, задержанного в Североморске патрулем в нетрезвом виде, посадил перед собой и спросил, прищурясь:

— Ребусы любишь разгадывать?

— Не очень, товарищ командир, — ответил лейтенант, стараясь дышать в сторону.

— Зря! Гимнастика ума. А теперь напряги свою единственную извилину. Как меня зовут, знаешь?

— Так точно.

— Озвучь.

— Владимир Евгеньевич Бубнов.

— Правильно. А теперь возьми мое имя, после буквы «веди» добавь «ы», от отчества используй «е» и присоедини две первые буквы фамилии. Уразумел?

Похмельное лицо лейтенанта порозовело.

— Так точно.

— Молодец! А теперь запомни: подводник должен знать свою норму — выпил литр коньяку под лимончик и остановись.

Экипаж обожал командира, гордился им — подводный ас, у него за торпедные стрельбы часы от главкома. Одним из первых за автономку удостоен ордена Красного Знамени, каждого матроса знал по имени-отчеству со всей подноготной. Голос — труба иерихонская — перекрывал мощью оркестр во время строевых смотров, зато в море самый тихий, самый спокойный человек и надежный, как базальтовая скала.

Вечером в мою каюту на ПКЗ-плавказарме постучал боцман по прозвищу Чапай и вручил аккуратно увязанный шкертом сверток, весил он никак не меньше десяти килограммов.

Боцмана командир подбирал под себя: такой же кряжистый, с ручищами, схожими с клешнями каменистого краба, без газового ключа отвинчивал гайки и очень любил здороваться с заезжим начальством. После чего у начальства надолго портилось настроение.

— Значится так, товарищ лейтенант, в кульке семужка урагубинского посла. Хранить следует в холодильной камере.

— Знаю, боцман, командир инструктировал.

— Тогда, как говорится, семь футов под килем и перо в задницу. А теперь, до свиданья, привет городу-герою.

— Обойдемся без рукопожатий, боцман. Наслышан.

— И чего только люди не наболтают. Дак ведь и вы не махонький. Вашим кулачком вполне можно свай в мерзлый грунт вколачивать. Как?

— После отпуска померяемся. А пока правая рука мне нужна, чтобы за дамами ухаживать.

— Вы там осторожней, товарищ лейтенант. Наш минер трипака словил на девке из кубинской молодежной делегации. Заморскую заразу даже пенициллин не брал.

— Учту.

Все мне удавалось в ту пору, потому как летел я навстречу своей судьбе. До аэропорта в Килп-Ярве довез меня на своем «Москвиче» флагманский механик — он жену встречал, самолет взлетел минута в минуту и через положенное время совершил мягкую посадку в аэропорту Внуково. Во время полета от спиртного я воздержался по причине визитации, захмелел от минералки и от воздуха грядущей свободы действии. А в Москве бушевала весна, охапки влажной сирени продавали у метрополитена, такси удалось отловить сразу, сговорчивый паренек за двойную цену с ветерком докатил меня до теткиного дома. Тетка отсутствовала, была в рейсе, ключи от квартиры у меня при себе, помылся, побрился, окатил себя «Шипром», сменил рубашку и отправился напрямик к дому на Хамовническом валу. О том, что следует позвонить, вспомнил только в лифте, да уж что тут делать, извинюсь. Дверь открыла девица в коротком го-

лубом халатике, видать, комбригова дочка. У меня сердце сразу и зашлось. Фигура, брови вразлет, волосы светлые, прическа «бабетта», из-под халатика коленки — единственные по красоте в мире. Глаза серые, спокойные, бесстрашные.

— Ну и что мы стоим? — спрашивает низким голосом.

— Здравствуйте. Имею поручение передать посылку контр-адмиралу Беляеву.

— Из Ура-губы, что ли?

— Оттуда.

— Подводник?

— Вроде того. Штурман.

— И как вы, штурман, при таких габаритах в рубочный люк пролазите?

— Я по частям. Извиняюсь, конечно.

— Заходи, только целиком. Мамы с папой нет. Позавчера в санаторий «Майори» отправились. Что в свертке? Господи, тяжеленный какой!

— Не могу знать. Но предположительно семга.

— Ой, а я только вчера вечером об урагубинской семге вспоминала. В Москве такой нет, даже в Елисеевском. Заходи, располагайся. Я сейчас шлепанцы принесу. Звать как?

— Григорий.

— Маша. И где вас, таких бровастых, нынче выращивают? На Украине?

— Корни отсюда, по отцу. А вообще-то местный, капотнинский. До нахимовского проживал у тетки в доме у Киевского вокзала. Забросил к тетке вещички, и к вам.

— Правильно сделал. Снимай тужурку, будешь помогать с семгой, мне одной не управиться.

Так и потек разговор, слово за слово, хреном по столу. Через час мы сидели на кухне, пили коньяк, закусывая адмиральской семужкой и прочими столичными деликатесами, от которых я, моряк-североморец, успел уже отвыкнуть. Вкусал я яства и мучился мыслью, что видел я Машу, но когда и где? Озарение пришло позже, но это уже не имело значения. Под каблук адмиральской дочки я угодил сразу и навсегда. И ни разу об этом не пожалел.

У тетки я побывал только разок, заскочил за вещичками. Весь отпуск в доме на Хамовническом валу провел. Что там Ромео и Джульетта, пацань! Монтекки вместе с Капулетти я бы в ту пору собственными руками порвал, чтобы не вертелись под ногами. Значит, все-таки бывает, чтобы вот так сразу и на всю жизнь. Удивительно, как мы тахту в Машинной комнате в щепки не разнесли. Я ведь не мальчик уже был, кое-что повидал, но ничего похожего не испытывал, всякие сравнения неточны, разве что постижение мироздания, полет к звездам, по которым мы, штурмана, ориентируемся в хорошую погоду.

Для меня только потом дошло, как Маша тонко и верно уловила тон, особенности моего характера, никогда не перечила, всегда соглашалась: «Как скажешь, любимый», а потом поступала по-своему, причем так, что мне, дураку, казалось, что воплощена моя неукротимая мужская воля. А что в том плохого? Я с лейтенантов привык командовать, а тут приходишь домой и вместе с флотскими ботинками на микропоре снимаешь с себя всякую ответственность. За всю жизнь я себе сам рубашки не купил, ни разу в отпуск один не ездил и ни одну бабу на стороне не имел. Дай

Бог, как говорится, с Машей управиться, выкладываешься целиком, вне зависимости от военно-политической обстановки, климатических и прочих условий.

Через две недели стремительной, как полет в космос, жизни, решили подать заявление в ЗАГС. Отпуск у подводника сорок пять суток плюс дорога и осложнения в пути — всякое же бывает: отстал от поезда, заболел свинкой, да ведь сотрудников ЗАГСа не пальцем делали, каменные бабы там сидят, их флотскими байками не разжалобить. Месяц сроку на отрезвление от любви и ни днем меньше. Маша только посмеивалась:

— Все уладится, Григорий Алексеевич. Только, милый мой, нам нужно стратегию выработать.

— Какую еще стратегию?

— Внимай! Родители у меня люди прежней закалки, папа за мамой два года ухаживал, подарки дарил, цветы, переписка, то, се, а тут является бравый молодец и сразу скок в койку, считай, к непорочной девушке. Непривлекательная история.

— А что же теперь делать?

— Нужна легенда прикрытия. Мы с тобой знакомы два года — срок достаточный, познакомились в Ленинграде в филармонии. Ты хоть знаешь, где она находится?

— Нет. Мне медведь на ухо наступил.

— А вот это не надо. Мама в музыкальной школе преподает, для нее отсутствие музыкального слуха такой же порок, как отсутствие у тебя первичных половых признаков. Ладно, я тебе справочку напишу на предмет музыкальных знаний, только заучи и как-нибудь подбросишь в разговоре, мол, без Генделя ну просто жить не могу.

— Не получится, я врать не умею.

— Получится. Врать я буду, тебе нужно только поддакивать. Слушай дальше. За три дня до возвращения родителей съедешь к тетке. Кстати, нам познакомиться нужно.

— Она в рейсе «Москва — Владивосток». Семь дней туда, там денька два, семь дней обратно.

— Значит, успеется. Уяснил легенду?

— Типа того.

— Я, как родителей подготовлю, позвоню тебе, дам последние инструкции. Явишься просить моей руки, цветы купишь на Усачевском рынке. Не удивляйся, если я вдруг расплачусь. Невестам положено. Правда, я не помню, когда в последний раз плакала. Все ясно?

— Так точно.

— Тогда продолжим морально-бытовое разложение.

— Может, передохнем?

— Это еще что такое? Р-разговорчики в строю! Учти, я в гарнизонах росла. Кто в душ первый пойдет?

В душе меня и шарахнуло: вспомнил, где видел я Машу и при каких обстоятельствах. А было так. Однажды в увольнении закатились мы теплой компанией в общагу к студенткам финансово-экономического института, который курсанты ленинградских военно-морских училищ называли «Как много девушек хороших, как много ласковых имен». Кто был? Геха Башкирцев, Степа Толоконцев, я, больше не помню, человек пять.

Стоял март, отовсюду капало, лед на Неве почти сошел — ранняя весна. Поймали на Васильевском мотор, по дороге отоварились: водочки взяли, пельменей, капустки «провансаль», хлеба и батон «отдельной»

колбасы. Геха Башкирцев, царство ему небесное, даже хрюкал по-пороссячи. А ведь были уже четверокурсниками, через несколько месяцев экзамены, стажировка, а там и долгожданное производство в офицеры.

Общага напоминала филиал ленинградских военных училищ. По коридору сновали сексуально озабоченные «фрунзаки» и «дзержинцы», прикидывая, где бы наскоро в картошку дров подбросить, встречались будущие военно-морские медики с просветленными лицами — интеллигенция; стуча кирзовыми сапогами, прогуливались курсачи пехотных и артиллерийских училищ. Из карманов галифе торчали горлышки бутылок. Военно-морской курсант сует бутылку горлышком вниз — флотские брюки в обтяжку, иначе не влезет бутылка.

Девахи встретили нас с распростертыми объятиями, быстро накрыли на стол. Геха Башкирцев, помнится, рубил колбасу палашом, чем веселил подружек. Между мной и Гехой сидела рослая блондиночка с бигуди на голове — голову мыла, не успела волосы высушить. Выпили, закусили, поговорили для приличия, потом старшая комнаты скомандовала: «Все, ребятки, гасите свет, пора окапываться». Команда была правильно понята. В комнате пять девах, пять коек, нормалек. Вырубили свет, послышалось волнующее шуршание, скрип пружин. Все очарование нарушил протяжный писк, завершившийся грохотом падающего тела. Кто-то зажег настольную лампу, из коек головы торчат, народ пытается понять, в чем дело, а у стола на одном колене стоит Геха, трясет головой и бормочет: «Вот это ударчик, чистые грюги». А над поверженным в боевой стойке застыла красуля с бигуди. Ноздри дрожат от ярости, губы скривились в усмешке: «Ты что же, мерзавец, сразу под юбку лезешь?» — «Считай до девяти, дура, — бормочет Геха. — Куда же мне еще лезть?» А из койки раздосадованный женский голосок: «Это Машка-пищалка свои фортели выбрасывает. Вот дрянь, в такой момент!»

Бигуди меня с толку и сбили. Напоминать тот денек не стал из опасения оказаться в позиции Гехи Башкирцева.

С родителями сошло все гладко, как по писаному. Один вечер посвятили классической музыке, и теперь я по цветку наклейки на пластинках мог отличить Баха от Генделя. Смотряны прошли строго по инструкции: цветы, прочее. Пока женщины накрывали на стол, вышли с Алексеем Николаевичем покурить на балкон. Контр-адмирал Беляев очень на моего батю походил: высокий, худощавый, с густыми бровями. Ему бы усы — точная копия.

— Ну, как вы там? — спросил он.

Рассказал я про беду в Полярном, о том, что в Ура-губе только-только. При упоминании имени моего командира Алексей Николаевич поплыл в улыбке:

— Мой ученик. Все так же матерится?

— Да вроде не очень...

— Ладно тебе! — адмирал засмеялся. — Володя Бубнов — из беспризорников, с юнг на флоте. Командир милостью Божьей, тебе повезло, Григорий, учись у него. Только подумаю Бубнова дальше двигать, он такой номер отколет: хоть стой, хоть падай.

Свадьбу отпраздновали в «Славянском базаре», сняли отдельный кабинет, присутствовали сослуживцы тестя и тещи, три-четыре подружки Маши, с моей стороны — никого. Обещала поспеть с рейса тетя Шура, везла из Новосибирска свадебные подарки, да сняли ее с поезда с сердечным приступом. У меня даже свидетелей не было. Согласились пойти сви-

детелями соседи по лестничной площадке — отставной генерал-майор юстиции Глеб Михайлович, осанистый, похожий на певца и киноартиста Вертинского, и его супруга Ираида Агафьевна, профессор МГУ. Погудели умеренно. Через два дня я улетел на Краснознаменный Северный флот для дальнейшего прохождения службы.

Отвертеться от продолжения свадебной церемонии в Ура-губе не удалось. Через неделю выдернул к себе Владимир Евгеньевич Бубнов и, наливаясь краснотой, заорал:

— Ты что же, поганец, молчишь? Увел у моего любимого адмирала дочку и сопишь в тряпочку!

— Да я... Да как-то...

— Так тебя и разэдак! Офицерской семьей, родным экипажем пренебрегаешь! Почему я информацию должен получать не от тебя, а от твоего тестя?

Топтал он меня, топтал, потом смилостивился. Сошлись на том, что, когда Маша приедет из Ленинграда (она оформляла документы, чтобы перевестись на заочное отделение), сыграем флотскую свадьбу. Свадьба без невесты — как-то не очень, пустая пьянка.

Молодая жена явилась в Ура-губу через полтора месяц, и заключительный бэмс устроили на квартире у Бубнова, под присмотром его жены, Галины Ивановны, и с соблюдением строгой секретности — в гарнизоне «сухой закон», начпо бригады кавторант Голубец, усохший, как моль, с профилактической целью совершал подворные обходы. Чтобы отпугнуть его, вырубил в подъезде свет: проводник идей партии панически боялся темноты и крыс.

Дочь бывшего комбрига встретили в Ура-губе радушно — Беляева любили, а Машу старожилы помнили еще девочкой. Командир береговой базы подполковник Иван Сидорович Франчук сразу предложил студентке-дипломнице место бухгалтера, должность деликатная, требующая особого доверия. И месяца не прошло, как нам выделили однокомнатную секцию в только что отстроенной пятиэтажке, правда, на первом этаже. Зато со всеми удобствами, разве что колонку в ванной пришлось топить березовыми чурками. Я обо всем этом понятия не имел, был в море, а когда вернулся из похода, глазам не поверил: квартирка отремонтирована, паркетный пол отциклеван, мебель хоть и кэчевская, но вполне приличная. Особенно меня поразил магнитофон «Комета» — достать такую штуковину в ту пору, да еще в Ура-губе, было трудно, дефицит.

— Доволен? — Маша торжествующе улыбнулась.

— Знаешь, как-то даже неловко. Семьи офицеров с детьми такого жилья не имеют.

— Так то офицеры, дурачок, а я — молодой специалист. Думаешь, от щедрот нынешнего комбрига? Ничуть. Квартира-то на меня записана. Желторотому лейтенанту такое жилье не по зубам.

— Ну, ты не очень...

— Увянь.

— А как я ребятам в глаза смотреть буду? Они с ребяташками по углам маются.

— Молча. Да не распускайте сопли, лейтенант Старчак. Мы из нашего бунгало клуб сделаем. Клуб веселых и находчивых. Ребята пьют в подъездах, к старухам из рыбсовхоза шастают, а тут все на виду. И выпить, и закусить. Думаешь, бухгалтер — простая работа?

— У меня командир такого жилья не имеет.

— Опять заладил. Уйдешь в автономку, я семью какого-нибудь лейтенанта к себе возьму. Я же на работе с утра до ночи, да еще диплом. Пишущая машинка на бербазе, там и строчу. А рожать поеду, на это время многодетных поселишь, а сам в общежитие. Три к носу, муженек.

— Рожать?

— А ты не знал, что бабы рожают? Тебя уж точно не в капусте нашли. Не вырос еще такой кочан. Иди в душ. Белье, свежая рубашка в шкафу. У нас сегодня гости.

— Гости? Кто?

— Иван Сидорович Франчук с супругой.

Глянув на мою вытянувшуюся физиономию, Маша расхохоталась:

— Завтра тоже гости. Не догадываешься, кто? Офицеры экипажа твоей подводной лодки во главе с Владимиром Евгеньевичем Бубновым. С женами, у кого есть. «Добро» уже получено. Ты служи, Гриша, а думать я за тебя буду. Шутка юмора. Жена да убоится мужа своего. Хозяин-то все равно ты. Для проформы.

Маша зашлась от смеха:

— Вали в душ, штурманец, а я постель раскину. Прояви внимание к жене...

В тот денек я окончательно утратил волю, целиком положившись на мудрость жены. И все вышло ладом. «Клуб веселых и находчивых» вскоре обрел в гарнизоне популярность. Был даже свой устав, где наиглавнейшими пунктами были: не перепивать, не говорить пошлости и ни слова о политике. С первым пунктом, правда, не всегда получалось, но на стреме всегда была «группа спасения»: перебравшего аккуратно укладывали в ванной или тайком, под покровом полярной ночи, транспортировали в общежитие. Когда наступала пора белых ночей и гарнизон пустел — жены с детьми отправлялись на юг, поближе к витаминам и солнышку, члены клуба по воскресным дням перемещались на сопку Пикник (географическое название — Слоновка), там, в укромном месте, припрятан был кухонный инвентарь, шашлычницы и даже хрустальные фужеры. Ура-губа, ставшая впоследствии поселком Видяево, располагалась в заповедном на Севере месте. Не то, что Лица, Гаджиево и, Боже упаси, Гремиха — тундра, скалы и оголтелое комарье. Комарья в Ура-губе тоже хватало, зато были и озера с прозрачной водой. Плавать рекомендовалось только на поверхности, прогретой солнцем, ногу опустишь — ледяная водичка. Причем лучше плыть на спине, чтобы веточкой отмахиваться от комаров. Зато гарнизон окружали сопки, поросшие всамделишными березами и сосенками, а не карликовыми уродцами. В речке Урица водилась семга, рыбнадзор в те годы не свирепствовал, да и пойди поймай флотских умельцев, когда они с двух буксиров сеточкой устье полноводной реки протравливают, обозначая учения.

Солнце целый день у горизонта, на небе ни облачка, бакланы да чайки, на сопке Пикник то там, то здесь дымки курятся — народ шашлыки поджаривает или ущицу из семги варит, и, куда ни глянь, все зеленью выкрашено — благодать.

А угасло короткое полярное лето, публика перебиралась в дома, и клуб функционировал исправно. Пели песни, слушали магнитофонные записи. В моду входили барды: Клячкин, Анчаров, Визбор. Дребезжащий тенорок Окуджавы уже тревожил неокрепшие души. Политруководство песни эти не одобряло, но особенно и не препятствовало. Как-то приблизился к нашей компании стукач, работающий на особый отдел. Заглянул

старший лейтенант послушать, о чем в застолье травят офицеры, и высказать, нет ли недозволенных настроений. Стукача мгновенно раскусили, и вечера в клубе какое-то время напоминали флотскую партийную конференцию. Старший лейтенант ушел ни с чем, с твердой уверенностью, что в клубе собираются круглые дураки, которые и понятия не имеют, что происходит в стране, руководимой Никитой Сергеевичем Хрущевым.

Раза два заходил к нам на огонек и сам комбриг Юрий Константинович Захаров, строгий, но справедливый мужик, настоящий подводник. И на грудь мог принять, и на гитаре играл хорошо. А вот начпо так и не оскоромился, издавдала следил за подопечными, используя принцип вологодского конвоя: шаг в сторону считается побегом, в смысле — выдернет на парткомиссию.

Двери в квартирах офицерских домов никогда не запирались. От кого? Маша гнула свою линию: у нас появилось пианино. На нем жена обучала детей музыке. Как только энергии на все хватало? С моря придешь, сидят чистенькие, ухоженные мальчики и девочки, разбирают потную азбуку. Под брэнчание пианино я дрых без просыпу, все лучше, чем тревожный межвахтенный сон на лодке под стук дизелей. Штурмана и командиры отсыпаются только на пенсии. В часы застолья пианино превращалось в бар, и на крышке деликатного инструмента вырастала пирамида бутылок. Принцип: подходи и сам наливай, как в лучших домах Лондона.

5

С тестем и тещей мне повезло. Круглый сирота, выкормыш закрытых военно-морских заведений, я обрел семью, по гроб жизни буду обязан я Алексею Николаевичу и Елизавете Павловне, пусть земля им будет пухом. Сейчас, когда их давно уже нет, я с обостренной зоркостью вспоминаю фрагменты нашего совместного бытия, и картины эти яркие, насыщенные красками, звуками и даже запахами.

...Май, старый, еще дедов дом в Немчиновке, подлатанный, восстановленный, но сохранивший детали быта ушедшего времени. Стол в светлой горнице, сработанный сельским столяром, крепкий, рассчитанный на столетия, за которым мы собирались у добродушно пофыркивающего самовара, кисловатый запах догорающих древесных углей, сквозь накрахмаленные кисейные занавески падает закатный свет, горка блинов в керамической миске, сметана в глиняном глечике, графин с рябиновкой. В доме никакой роскоши, но все надежно, все к месту: на стенах, оклеенных простенькими обоями, даггеротипы, более поздние фотографии, окованный железом сундук, покрытый пестреньким рядном, сшитым из лоскутов, — произведение искусства. Дом устоял в войну, только баня во дворе сгорела, вместо нее поставили новую, из бруса. Мы с тестем только что из бани, распаренные, благостные. Алексей Николаевич — худой, выветренный болезнью, с серыми запавшими висками, в вылинявшей тельняшке. Маша сидит надутая, никак не могла докричаться Маринку — та ушла куда-то с подругами. Елизавета Павловна, округлая и какая-то вся уютная, домовитая, заканчивает накрывать на стол. Ее говорок успокаивающе звучит в горнице: «Пусть погуляет девочка, есть захочет — придет». Из распахнутого окна ветерок доносит запах черемухи, бьется о кисею шмель. Чуток похолодало, как всегда бывает при цветении черемухи, пришлось протопить печь, да перестарались, дом хранит тепло.

Братья и сестры Белова сгинули в гражданскую войну, у него самого судьба непростая — по комсомольскому набору пошел на флот, потом Высшее военно-морское училище, то же, что и я, закончил. К началу Великой Отечественной войны он уже командовал подводной лодкой — «щучкой» на Балтике. О войне, да и вообще о службе, Алексей Николаевич не любил рассказывать, отмалчивался, больше интересовался нынешними делами на флоте. Кое-как, по частям, из рассказов Елизаветы Павловны и Маши восстановил я, склеил его военную биографию. Были в ней и взлеты, и падения.

Ура-губа во второй половине пятидесятых годов, если не смотреть на эту базу глазами юного влюбленного лейтенанта, была, пожалуй, самым неблагоприятным, мрачным местом на Северном флоте. Плавпричалы, деревянные казармы, кубарь штаба на возвышении, убогий, как в зоне, клуб, магазинчик, лазарет — все. Дороги с укатанной шлаком проезжей частью в распутицу превращались в дегтярную липкую жижу. Офицерам тогда разрешалось носить галоши, в этой жиже они застревали навсегда. Дорогу так и называли — «галошный путь», по примеру «шелкового пути».

Позабывтый ныне флотский поэт, впав в меланхолию, сочинил об Уре-губе такие строки:

Пупом земли является Европа,
И в этом смысле правда есть.
Но если у Европы существует ж...,
Дыра от ж... только здесь!..

Полярный с разудалым рестораном «Ягодка», с магазином в циркульном доме и с основательным, помнившим еще союзников по войне, Домом офицеров флота выглядел столицей полярного края.

Комбриг Белов принялся наводить порядок, средств выделялось мало, все деньги шли в Западную Лицу, Гаджиево — там обосновался атомный флот. Кое-что удалось сделать, при Алексее Николаевиче начали возводить первые пятиэтажки для семей офицеров, появились госпиталек на пятьдесят коек, складские помещения. Во время одного из выходов в море у комбрига открылось желудочное кровотечение — дала о себе знать застарелая язва, еле вытащил его с того света корабельный врач, оперировали на берегу и как результат — негодность к плавсоставу. Главком знал Белова лично, уважал и предложил ему должность заместителя начальника управления кадров при Главном штабе ВМФ.

С юной учительницей музыки Лизонькой старпом Белов познакомился в тридцать девятом. Шла война с белофиннами, Лиза работала санитаркой в Кронштадтском военно-морском госпитале, куда и был доставлен из Либавы тяжелораненый моряк-орденоносец, при участии которого в Ботническом заливе пошел на дно финский военный транспорт «Большейм». Нежные руки санитарки быстро вернули в строй сурового старпома, убежденного холостяка. Убеждения эти поистаяли, как балтийский утренний туманец. Молодые люди после затяжного ухаживания, получив благословение командира лодки и старшего политрука, отправились записываться в ЗАГС...

О том, что у меня родилась дочь, я узнал в море из радиограммы, потому и нарекли девочку Мариной. Имя только-только входило в моду. Мне оно не нравилось, хотелось назвать новорожденную Ольгой, в честь моей матери, чтобы частица ее воплотилась в крохотное существо, одна-

ко нрав жены я уже хорошо знал и не решился артачиться. К тому же дочура досталась Маше нелегко, беременность протекала тяжело, с осложнениями, обеспокоенные врачи посоветовали отправить жену в Москву, как приспееет, положить в клинику на сохранение беременности. Плод сохранили, но пришлось делать кесарево сечение.

Подробности дошли до меня лишь через полгода. Когда прилетел в столицу, дите уже глазами лупало и улыбалось. Марина появилась на свет в знаменитом родильном доме на Арбате. Нынче, когда прохожу мимо этого здания, замкнутого со всех сторон безликими тупыми прямоугольниками сооружений на Новом Арбате (хорошо хоть церквушку Симеона Столпника сохранили), я вновь ощущаю парной запах пеленок, слышу негромкое попискивание, и ко мне возвращается удивление: надо же, крохотное, несмышленное существо, а сколько радости доставляет. Но видел дочь я тогда редко.

Продвижение по службе шло у меня убыстренными темпами, хочется верить, что не потому, что я адмиральский зятек. Алексей Николаевич, при всей своей доброте и хорошем ко мне отношении, там, где касалось службы, мужик был суровый: барахтайся сам, сам выбивайся в люди. Только ведь кадровики меж собой связаны: там, где тесть пальцем не пошевелит, могли продвижение поправить его северные коллеги. Поплавал я полтора года командиром штурманской боевой части под началом Владимира Евгеньевича Бубнова, и меня кинули на годичные командирские классы в Ленинград, а оттуда помощником командира на новую по тем временам дизельную ракетную подводную лодку 651-го проекта. Экипаж под сто человек, девять отсеков, четыре контейнера с крылатыми ракетами — америкосы называли их «убийцами авианосцев». Супостаты к этим лодкам проявляли особое внимание: шла война во Вьетнаме, и, если бы мы серьезно ввязались, этим господам подставлять свои дорогостоящие махины не очень бы захотелось.

В помощниках я не задержался, через год стал старпомом, тут уж пришлось и совсем круто, ибо «должность старпома несовместима с частым пребыванием на берегу». Выныривал только в отпусках, те годы и запомнились отпусками: Крым, Кавказ, Прибалтика. Но сначала, конечно же, столица, дом на Хамовническом валу, дача в Немчиновке.

В тридцать лет стал я командиром ракетной крейсерской лодки водоизмещением четыре тысячи тонн. Оглядываясь назад, я думаю, что те годы в Видяево были самыми счастливыми в долгой моей жизни: хотя и непростыми. Командир — должность ответственная.

Случаются события, которые одним ударом раскалывают твою судьбу на части, как лед на могучей северной реке в преддверии буйного весеннего паводка.

...Поход был ответственным — стрельбы модернизированными крылатыми ракетами. Отошли от причала ночью, миновали пост СНИС на Выевом-Навалюке, который, как случилось и раньше, не сразу ответил, выдать, резались дежурные в «козла»; погрузились, отдифферентовались как положено и пошли дальше в подводном положении. Я сидел в центральном посту на разножке. Булькало, посвистывало в закутке у радистов. Шли обычные доклады с боевых постов, старпом Вася Володин, в просторечии Ваво, хрустел сухариками, считалось, что так он спасается от морской болезни, хотя и не качало. Какая качка в подводном положении? Привычка. Старпом у меня золото, вполне созрел, чтобы привинтить на китель командирскую лодочку. Жаль будет его отпустить.

Стрелять мне приходилось уже не раз, даже призы за стрельбы брал, в ракетчиков своих я верил, знал — не подведут, а все же смутно было как-то на душе. Поступил доклад, что в полигоне нас ждут, обеспечение на месте — полный порядок.

На лодке даже при режиме молчания, тишины нет, но каждый звук привычен, определяем, имеет свое объяснение. За час хода до полигона лодку внезапно встряхнуло, послышался треск, переходящий в скрежет, лодка, будто споткнувшись, резко пошла в глубину с дифферентом на нос, да так, что я еле удержался на разномжке.

— Вот, блин, поцеловались с кем-то, — вороном каркнул старпом.

Я, как мне показалося, спокойно, не повышая голоса, скомандовал:

— Продуть среднюю!

— Есть продуть среднюю!

— Рули действуют?

— Действуют!

— Снять давление в средней. Прослушать горизонт. Докладить по отсекам, что наблюдали.

И сразу тревожный доклад:

— Удар в районе первого отсека.

— Слушать в отсеках. Всплыть на глубину семь метров.

— Глубина семь метров, горизонт чист!

Звонкий голос акустика:

— Слышу шум винтов по пеленгу триста двадцать. Шум удаляется.

— Боевая тревога, вид готовности один, определить элементы движения цели. Режим докладов — одна минута.

Акустик:

— Шум уменьшается, контакт потерян.

— Всплыть в надводное положение! Приготовить дизеля к пуску.

— Продуть среднюю! Пустить дизеля на продувание балласта!

Зашипел, загомонил воздух, выдавливая из цистерн воду, лодка замерла, стала всплывать, и вот уже ее качнуло легкой волной. Я скомандовал:

— Старпом к перископу! Наблюдать за водой! Помощника командира и сигнальщика — на мостик! — натянул перчатки, полез по осклизлому трапу, отдраил верхний рубочный люк, выбрался на мостик, огляделся. Мир был заполнен солнцем, от бликов резало глаза, на поверхности ничего постороннего, что говорило бы о столкновении. Но командирский глаз вычленял детали, оценивал обстановку: в носовой надстройке по левому борту торчали ошметки легкого корпуса, как раз в районе первой пары ракетных контейнеров, в шпигатах пенилась вода, баклан прочерчивал свой путь в небе. Прижал к глазам окуляры бинокля. Волна, казалось, лизнула стекла, вроде бы я даже запах морской воды унюхал. Чистый горизонт, и локатор ничего подозрительного не засек. Навалилась секундная слабость, я ее тут же подавил, голова работала четко — смелый в том, что произошло столкновение, нет. Но с кем? В этом квадрате наших лодок не должно быть. Шли мы на глубине шестьдесят метров, лодка завершала циркуляцию влево, я готовился подвсплыть на перископную глубину, чтобы выйти на радиосвязь. И садануть меня мог непознанный объект лишь в случае, если находился он рядом. Англичане и норвежцы такого себе не позволяли, а вот если лодка американская, то от них можно было ждать чего угодно. В последнее время, по данным разведки, американцы вели себя нагло, авиаторы засекли их атомную

субмарины у входа в Мотовский залив, обвеховали буюми, корабли ПЛЮ кинулись в погоню, но лодке удалось оторваться.

Доложил по команде: «Имел столкновение с неопознанным объектом. Всплыл, широта... долгота... Имею повреждение, не влияющее на выполнение задач плавания». И вскоре получил ответ: «Вернуться в базу. Следовать в надводном положении».

Дальше — все черным цветом: комиссия штаба эскадры, высокая комиссия из Москвы, беседа с операми КГБ, объяснительные записки с последующим раздолбом — все обычным путем. И еще знобкое ощущение свалившейся беды, мысль: снимут-не снимут, вызов на парткомиссию, строгач с занесением в учетную карточку, неполное служебное соответствие в приказе комфлотом.

Бог спас, оставили в должности, дали шанс загладить вину.

Лодку направили на ремонт в Северодвинск. Залатать легкий корпус можно было и в Видяево, но приспел срок среднего ремонта. Северодвинск в семидесятые годы был уже вполне современным городом, со всеми признаками цивилизации: с многоэтажными домами, широкими проспектами, ресторанами, стадионом, театром, величественным Домом культуры в центре.

Машу с места срывать не стал — у нее работа, Мариша в Москве под присмотром деду с бабкой, ремонт продлится минимум полгода, а там, глядишь, отпуск. Все бы ничего, угнетала мысль: «Командной карьере конец, при грузе таких «фитилей» надежду на учебу в академии можно похерить, а значит, проститься с мечтой об адмиральских «мухах» на погонах». До столкновения служба у меня шла гладко, не считая, конечно, досадных мелочей. И вот на тебе!

Стояло душное поморское лето. Экипаж разместили в бревенчатой казарме бригады ремонтирующихся подводных лодок на острове Ягры. До завода пехом полчаса. Офицеры бригады харчили в столовке — мрачном скособоченном сооружении. За столовкой — ровная, убегающая к морю пустошь. По рассказам старожилов, в этом невеселом месте хоронили эков. Ни могил, ни даже холмиков не сохранилось. Кое-где были воткнуты таблички со стершимися номерами.

От Маши пришла телеграмма: «Срочно позвони отцу». Три слова — и никаких комментариев. Я переполошился. Тесть второй год на пенсии и чувствовал себя неважно. Переговорный пункт помещался на главпочтамте, в центре города, рядом с рестораном «Северный»; напротив, через сквер, городской драматический театр. Все строения деревянные и одинаковой архитектуры — строили по одному проекту ээки. Голос тестя звучал в телефонной трубке ослабленно, но достаточно четко: «Гриша, я тут консультировался... Боюсь, что после происшествия строевая карьера тебе заказана, перспектив не вижу. В управлении боевой подготовки Главного штаба освобождается должность заместителя начальника отдела по твоему профилю. Штатная категория — первого ранга, приличный оклад. Подумай. Только не тяни с ответом. Такой второй случай может не представиться».

А что тут думать? Жилье в Москве есть, дача опять-таки. Маришка там, тесть болеет, да и теще одной тяжело стало управляться. Короче говоря, я дал согласие на перевод в столицу.

Наивный северянин, назначенный в Главный штаб ВМФ, в первое время дуреет, все ему непривычно, все странно. И пройдет не месяц и не два, пока он поймет, нутром уловит так называемую специфику центрального аппарата.

Дураков в Главно штабе я не встречал, блатные были, с «рукой», вроде меня. Правда, тесть мой был уже не у дел, но связи-то остались. Отсюда и спасительный звоночек, и перевод в Москву. Но ведь не по своей воле я с мостика сошел, командиром, судя по аттестациям, я был неплохим, одна фраза чего стоит: «Любит море». И не я врезался в супостата, а он в меня, да еще в наших, советских водах. Комиссиям лучше бы разобраться, почему америкосы пасутся в секретных полигонах и караулят наши лодки при выходе из баз. Но тогда следовало признать несостоятельность нашей техники. Кто же это будет делать? Кто допустит? А так, перекрыл кислород командиру, и пусть он штаны в штабах и прочих конторах просиживает. Ребята в нашем отделе тертые, с опытом, свой брат командир, да и в других управлениях, как не раз я убеждался, мужички с ясными головами, а то и с подлинным управленческим талантом, учиться было у кого.

А теперь представьте, каково мне было рушиться с постаamenta веры, когда задули западные ветры, заштормила «перестройка» и на экранах телевизоров замелькали «народные заступники», упакованные в дорогие импортные костюмчики, и миру явился сверхсекретный физик, ныне же ниспровергатель системы, диссидент номер один. Тут уж запахло серьезным, кровушкой запахло и соляжкой, чем заправляют танки и бэтээры. Я и на балкон своей крепости на Хамовническом валу перестал выходить, с которого слышны были в Лужниках вопли одурманенной «свободой» толпы.

И у нас в ГШ ВМФ как-то разом все перевернулось; незабываемая, казалось, твердыня на Большом Козловском приняла вдруг водичку в носовые балластные цистерны и пошла на погружение. Вскоре поступил циркуляр, точнее рекомендация: в связи с нестабильностью в столице являться на службу в гражданском, а в форму переодеваться в служебных комнатах. Дожили, как говорится, приехали: во флотской форме, добытой нелегкими курсантскими годами, появляться в городе нельзя. И потекли через КПП бывшие командиры с постными лицами в заштатных плащиках, и в кафе «Шоколадница», что у метро «Лермонтовская», сбивалась теперь серая, безликая масса, спасающаяся от стыда и негодования коньяком. Благо, «перестройка» на вкус коньяка не повлияла. Превжний был вкус, да и крепость та же.

Осенью восемьдесят девятого года я приехал в Питер (плановая проверка Ленинградской военно-морской базы), созвонился с дружкой своим Левон Горгиным; вечером мы сидели в кабинете его старой квартиры у Парка Победы. Левон прожил здесь долгие годы, почти всю жизнь. В окно видно было, как ветер раскачивает пожелтевшие деревья. В кабинете, принадлежавшем еще его отцу, мало что изменилось, разве добавилось книг — они стопками лежали вдоль стеллажей, громоздились на подоконнике. И еще исчезла медвежья шкура, застилавшая пол.

С этой шкурой у меня были связаны особые воспоминания. Когда родители Левона уезжали в отпуск, подлечиться в санаторий, в нашем распоряжении оставалась квартира — и в дни увольнений мы, курсанты-старшекурсники, приводили туда девочек. Пили шампанское, плясали рок. Левон устраивался с подружкой на диване в гостиной, а мне доставался кабинет с медвежьей шкурой. Родительская спальня считалась неприкосновенной. В памяти остался медленно светлеющий квадрат окна и запах трубочного табака «Золотое руно».

Столько лет прошло, давно уже нет Аршака Мартиросовича, еще

раньше тихо отошла богомольная тетка. Сам Левон, окончив подводную одиссею, защитил докторскую диссертацию и ныне руководил отделом в закрытом НИИ ВМФ.

Мой приезд совпал с годовщиной смерти жены моего друга, красавицы Мариам; мы изрядно выпили по этому грустному поводу. Левон был сумрачен, забко поводил плечами и, нервно потирая руки, слушал московские новости.

— В Главном штабе мертвый штиль, шуршит по углам народец, — рассказывал я, шаря глазами по книжным полкам. — Боевая служба свертывается, на флотах воровство, офицеры бегут с кораблей, в Лужниках каждый день митинги...

— У нас то же самое. У Казанского собора до мордобоя доходит. И откуда взялось столько витий, ораторов, крикунов... демократы, черт бы их побрал!

6

А меня ждало еще одно «столкновение», только уже не в Баренцевом море, а в семье. И по разрушительной силе было оно посильнее первого.

Маришка большую часть времени жила не при нас, родителях, а с бабушкой и дедушкой. Какое-то время обитала в школе-интернате в Мурманске, школа с английским уклоном в Видяево не было. А без этого самого уклона, по мнению Маши, нынче далеко не уедешь. В Мурманск не наездишься, более ста верст, вот и вызревала деваха без родительского внимания.

Маша до поры считала, что так и нужно — девочка быстрее станет самостоятельной, а когда прозрела, было уже поздно. Я дома бывал редко, гостем, во всем полагался на жену, а у нее свои заморочки, свой интерес — работа, общественная деятельность. Маришка дичилась нас, от ласк не теплела, рос человек себе на уме, ни в отца, ни в мать, и уж точно не в деда с бабкой. Хотя особых проблем с ней не было, даже в пубертатном, как говорят медики, возрасте. Училась хорошо, тяготение имела к наукам гуманитарным. В Москве дело поправилось, жили уже одной семьей, но опять-таки в роли главных воспитателей оставались дед с бабкой. Я в командировках по пять месяцев в году, Маша раскручивала карьеру экономиста в Госплане, так поперла, не остановить, вот и дали старики слабину. Но в чем? В безоглядной любви? Любовь не поруха, не баловство, не делает из человека скрытня, готового к широкому нравственному маневру.

Конечно, я хотел еще сына, продолжателя морской династии, и имя было заготовлено в честь дедов — Алексей, но не вышло. И Маринка стала для меня родничком — опустишь в его прохладную воду руку и начинаешь верить в вечную жизнь.

Любовь мою дочь приняла, но как-то сразу установила дистанцию в отношениях, иногда, в разговоре, ловил я на себе ее внимательный, острый взгляд, губы ее вздрагивали в тщательно скрытой усмешке, и тогда казалось мне, что держит она меня за дурачка, что ли. Отношения ее с матерью я бы тоже не назвал близкими, хотя потаенной доверительности было, конечно, больше — женщины, другой пол. Не будет же она мне докладывать о первых месячных или о первой влюбленности.

Но помнится, думать так, анализировать стал я сейчас, когда все уже случилось, выгорело в переживаниях, в ночных бессонных разговорах с

самим собой, когда судишь себя с особой строгостью, взвешивая все «за» и «против». И картина складывается неутешительная, с веками выверенным горьким выводом: за все нужно платить.

А тогда ведь ничто не предвещало беды, и беспокоились мы совсем о другом, точнее, беспокоилась жена, а не я, видно, я и в самом деле был и остаюсь, выражаясь современным языком, лохом в житейском смысле. Первые предвестники надвигающихся проблем не заставили себя ждать.

За завтраком, было это в понедельник, я сменился с дежурства и поэтому клевал за столом носом; Маша сказала:

— Тебе не кажется, что Маринка довольно странно себя ведет?

Я от удивления чуть вилку не уронил.

— В чем это выражается?

— А в том. Девица — старшекурсница, хороша собой, одевается со вкусом, а ни друзей, ни подруг. Театр, филармония, институт. Далее — в обратном порядке. Тихоня, синий чулок, монахиня. Меня это настораживает.

— Она же не в финансово-экономическом учится. «Как много девушек хороших», — так ведь ваш вуз именовался. Вот где девки были лихие.

— Рот закрой, дуралей. Тебе плохая жена досталась?

— Ты — особстатья. Вне критики! Погоди, — я почесал кончик носа, веки набухли, и от усталости гудело в голове, — на той неделе я, проезжая на машине, видел Маришку с мужиком, шли по скверу на Усачевке в сторону метро.

— Обознался.

— Глаз-то у меня, извини, командирский. Не притупился.

— Значит, учитель из школы, где она проходит практику. Коллегал! Тоже мне, женишок.

— Учителя так не одеваются. Парень весь в заморской джинсе и в ковбойских сапогах.

— В чем, в чем?

— Ну, такие короткие сапожки на завышенном каблуке. Как у ковбоев из вестернов.

— Гриша, шел бы ты спать. Сейчас со стула упадешь. Откуда здесь вьются ковбоям? Незнамо, что мелешь. Я тебе о дочери, а ты шуточки шутишь. — Маша обиженно поджала губы.

— Ладно, ложусь. Может, и впрямь померещилось?

Не померещилось. Ковбой заявился месяца через три. И появлению его удивился, пожалуй, только я. Маша с Мариной давно уже за моей спиной все обговорили и взвесили. Маришка, любимая доченька, поцеловав меня, сообщила в пятницу вечером:

— Папа, завтра к обеду у нас гость. Отнесись к визиту серьезно.

— Не понял.

Тут Маша встряла:

— А что тут понимать? Марина хочет представить нам своего жениха. Меня как колом по башке садануло. Попытался отшутиться:

— Форма одежды парадная, при кортике?

Жена усмехнулась:

— Вольно, товарищ капитан первого ранга. Форма одежды партикулярная: светлые брюки, рубашка в полоску. Та, что я тебе недавно купила. Все выглажено, висит в шкафу.

— А на ноги что?

— Не выпендривайся, отец. Подумаю лучше, чем гостя будешь потчевать. С утра двигай на Усачевский рынок, список покупок я тебе составила.

— Раньше не могла предупредить?

— Сама недавно узнала. Ты только в споры политические с парнем не вступай, лучше внимательнее приглядишься к будущему зятю. Опыт работы с личным составом у тебя есть, в людях разбираешься. И еще учти, человек он гражданский, к нему со стандартной меркой подходить нельзя.

У меня впервые защемило сердце. Не скрою, была у меня мечта — зятем станет офицер флота, раз уж сына нет, а внук родится — той же дорогой пойдет, в родную «систему» на Васильевском острове. Сколько раз представлял себе, как иду я по набережной Невы, солнышко светит, корюшкой пахнет — свежий огуречный дух в воздухе, а навстречу мне первокурсник в ладном бушлате с золотыми якорями на погонах, ветерок треплет ленточки на бескозырке. Господи, да после этого и помирать не страшно!

Мечты, мечты, где ваши звуки? Ковбой на этот раз был не в джинсе, а в бархатном черном пиджаке, каких я сроду не видывал, светлых брючках, остроносых мокалинах, без галстука, рубашка вольно так расстегнута, и все сидело на нем свободно, ладно. Помню, в голове тогда у меня сверкнуло, что никогда я не умел так свободно носить гражданское шмотье, да и не научусь теперь. А когда было учиться? То парусиновая курсантская роба, что после стирки стоит колом, то ватные штаны, сапоги и канадка из дубленой свиной кожи. Парадную форму несколько раз в году надевал: в праздники и во время строевых смотров. Это уже в Москве, на штабном паркете, пришлось нарядиться в тужурку, скроенную в швальне на Дорогомиловке, в зауженные брюки и штиблетки с резинкой облачиться. Идешь, бывало, по бесконечным коридорам ГШ, а каблук цок-цок, как копытца у козла.

Справившись с формой одежды, оглядел я и самого жениха. Парень крепкий, спортивный, ростом чуть ниже Марины, отсюда и завышенные каблуки на мокалинах. Лицо загорелое, словно вернулся с юга, шатен, а глаза черные с этакой волокой. Не красавец, но есть в нем, как любит говорить Маша, этот... шарм. Глянет такой ковбой на девушку... Словом, пропала Маришка. Кранты.

А жених тянет мне руку:

— Аркадий.

— Григорий Алексеевич.

— Очень приятно.

Рука у Аркадия хоть и узкая, но сильная, жесткая. Я терпеть не могу вялых, как дохлая рыбина, рук. Еще плюс. Понравилось, что жених не стал ерзать в прихожей, сдергивать обувь, как у нас принято. Вошел в гостиную спокойно, не вошел, поплыл, точно на воздушях.

Не мог не отметить я реакции на гостя и у моих дам. У Маринки на лице застыло глуповато-влюбленное выражение, глаза учились, казалось, щелкни сейчас женишок пальцами, она зайдется ненатуральным смехом и сделает антраша или спляшет собачий вальс. Не без горечи я отметил: все у них уже было, и не раз. Такого опытного мужика, как я, не проведешь, дело ясное, Аркадий имеет над моей дочерью власть, от которой ей уже не избавиться.

Старуха моя, приняв было боксерскую стойку, расплылась в улыбке, не фальшивой — Маша врать почти не умела. Если кто ей не глянется,

все, церемониться не станет, а тут и сама, видно, уже готова завальсировать, подключить женское обаяние.

Далее смотрины покатались по точно расписанному сценарию. Аркадий ел, ловко пользуясь приборами, умеренно поддерживал светскую беседу, словом, был непринужден и не чувствовал себя стесненно.

Я налегал на водочку, жених ограничился сухоньким, да и то одолел один фужер — неплохо, хотя мужики, не пьющие водку, всегда вызывали у меня недоверие. Так ведь куда денешься? Сам-то я выращен на «шиле».

Маша, похоже, совсем потеряв голову, носилась на кухню, стуча каблуками по паркету, как курсант «гадами» — ботинками из яловой кожи — по железным паёлам. В хмельной дымке застолья отметил я один таинственный факт. То, что молодые, сидя рядом, все время старались прикоснуться друг к другу — нормально для влюбленных, хорошо еще, что жених, как сейчас принято, не лапает невесту за коленки при родителях. А вот один эпизод смутил меня. Вилка у Аркадия вдруг исчезла, электровспышкой вспыхнула под потолком — я ожидал, что она со звоном упадет на пол, с кем не бывает. Но вилка исчезла, растворилась в пространстве. Аркадий слегка поморщился, полез во внутренний карман пиджака и оттуда... достал другую, а может, ту же самую. Такого быть, конечно же, не могло, потому я решил перейти с водки на минеральную воду.

Пока женщины убрали со стола, доставали из стенки кофейный сервиз — предстояло пить кофе с коньяком, как принято в лучших домах Лондона, — мы с Аркадием вышли на балкон.

Погода в конце апреля стояла теплая, ни ветерка, Новодевичье кладбище уже подернулось зеленью, макушка колокольни золотилась на солнце. Я ничуть бы не удивился, если бы Аркадий из кармана бархатного пиджака извлек сигару, но он вытащил пачку «Мальборо», тоже неслабо против моего «Пегаса».

Закурили. Я отметил, что жених не курильщик, так, за компанию дымит, не затягиваясь. Чувствовалось, что он с трудом сдерживает волнение.

— Григорий Алексеевич, я предпочитаю прямой разговор. Не скрою, я пришел просить руки вашей дочери. Уж простите за церемонность, по-другому не умею. Но вы должны кое-что обо мне знать. У меня, как минимум, два серьезных недостатка.

Я насторожился.

— Первый — профессия, — продолжил будущий зять. — Я артист цирка на Цветном бульваре. Акробат, клоун-эксцентрик, жонглер. У меня свой номер. Зарабатываю неплохо, особенно во время заграничных гастролей. Второй недостаток, пожалуй, похуже — по отцу, а значит и по паспорту, я еврей. Мама русская. Фамилия моя — Шик, и это не артистический псевдоним, а подлинная фамилия. Папа — потомственный циркач, в последние годы работал режиссером отдельных постановок, писал скетчи, репризы. Был... Мамы нет шесть лет. Как видите, сальдо не в мою пользу, но я люблю Марину и постараюсь сделать ее счастливой. Все...

У меня затвердели скулы. Я затанулся и подумал, что ожидал нечто в этом роде. Почему-то мне стало жаль парня.

— Послушай, зачем все это? Артист, еврей? У меня на лодке одно время механиком плавал Сеня Либензон, мы дружили домами. Мужик железный, в любых ситуациях не терялся, с ним в море я был спокоен. И

потом, на моей субмарине каких-то только национальностей не было: армяне, грузины, абхазы, эстонцы, казахи. Был даже ненец, трюмный, Костя Ледков. Когда ты в прочном корпусе, важно, какой ты человек, ведь от тебя зависит судьба всего экипажа.

— А как же пятый пункт?

— Тут перебор есть, согласен. Но Сеня Либензон дослужился до флагмеха флотилии, первого ранга получил. Сейчас преподает в училище. А что касается профессии, так это вообще ерунда. Не вор же в законе, а творческая личность. Никулин — клоун, народный любимец и мужик, говорят, очень душевный. Не это главное.

— А что?

— Чтобы любили друг друга и жили миром...

Свадьбу, по настоянию Аркадия, сыграли тихую, домашнюю, без колготни, гостей, пластиковых пупсов на бампере лимузина, разных там ленточек, зато уж цветов было море разлитое. Полыхала, дурманя запахом, сирень — в тот год ее было много. Розы стояли в вазах по всем углам, были и диковинные цветы — орхидеи в прозрачных коробках, часть цветов переместилась на мой командирский мостик — балкон, и выглядели они флагами расцветивания, как в День Военно-морского флота.

И стол задался на славу. Даже маринованные миноги были, про икру я уже не говорю — и черная, и красная, и даже какая-то желтая. Девки мои с ног сбегались, гоняясь за здоровалами. На Усачевском и Тишинском рынках джигиты со мной даже здоровались, сами подбирали баранину и телятину. Платье на Маришке аж из Франции, чуть ли не от известного кутюрье. Просто, без излишеств, но за кабельтов видно, дорогое — Аркадий привез его из заграничных гастролей.

Не скажу, что я очень уж сблизился с зятем. Люди мы из разных миров, но я не мог не отметить его положительных качеств. Он любил Маришу, заботился о ней, их трехкомнатную кооперативную квартиру (я бывал там раза три за все годы) Аркадий перестроил, сменил мебель, получилось что-то вроде современного жилья на западный манер. Признаться, я в этом мало разбираюсь. Наша хаза в доме на Хамовническом валу мне нравилась больше — понятно, что к чему. Да и перемен я не люблю.

В нахимовском училище в младших классах нас часто водили в цирк. Мне особенно нравились клоуны: коверные и эксцентрики, в них было что-то близкое, пацанячье, расхристанное. С красными носами, в широченных клетчатых штанах, они играючи смешили публику. Вольницей от них веяло, хулиганством, а наши юные души, стиснутые подогнанными форменками, тянулись к свободе. Мы были детьми войны, не избалованными зрелищами, и потому хохотали до икоты.

А вот Аркадия в роли клоуна я представить никак не мог. Всегда элегантно одетый, сдержанный, молчаливый, не вписывался он в веселую клоунаду. Возможно, клоуны в обычной жизни все такие. На представления с участием Аркадия ни я, ни Маша так ни разу и не пошли. Он не приглашал, а проявлять инициативу мы не стали из осторожности.

В отношении с зятем ничего тревожного не проглядывалось, и дочь не беспокоила, хотя между нами вырос незримый барьер — молодые отдалялись все дальше и дальше, и рождение внука ничего не изменило. Единственное, в чем уступили молодые — назвали мальчика Алексеем.

Тесть и теща внука не дождались, ушли в один год, тихо, без мучений, хорошо, что успели до «перестройки». Не пережить бы им горя, что рухнуло на нас, когда молодые свалили за бугор. А случилось это в девят-

ностю к первым злосчастным году, в мае, когда народ уже ничего хорошего от жизни не ждал, но чтобы такое — в голову бы не пришло даже с тяжелого похмелья.

Потом-то выяснилось, что Маша о многом догадывалась, берегла меня, не говорила. Скрыла, что Аркадий накануне отъезда продал квартиру с выплаченным паем, семья временно переехала в пустующее жилье друга, тоже артиста, и стали они готовиться к отъезду. Готовиться скрытно, в заговоре участвовали не только взрослые, но и внук. Малец, а словом не обмолвился, не проговорился. Молчун, весь в отца.

Официальная версия выглядела вполне правдоподобно: Аркадий уезжает в США на гастроли, берет с собой жену и сына, пусть прокатятся, мир посмотрят, а то ведь сидели за «железным занавесом», не продохнуть. Гастроли продлятся три месяца, затем домой. Польза очевидная: Марина и Лешка попрактикуются в языке, а он заработает денежек, и не «деревянных», а в надежнейшей мировой валюте. Чем плохо?

Представить себе, что Марина об этой афере не знала, не могу, более того, допускаю мысль, что это ее инициатива. Последующие события подтвердили это предположение.

Из первых писем Мариши из США, восторженных, отстуканных на компьютере, мы узнали, что молодые путешествуют по юго-восточным штатам, гастроли в небольших провинциальных городах: чистота, покой, магазины ломаются от изобилия, и никаких тебе митингов и ГКЧП. Свободная демократическая страна, населенная исключительно добрыми, отзывчивыми людьми. В России такого никогда не было, да и не будет.

Через два месяца тон писем изменился. Дочь готовила нас к главному событию, из-за чего и затеяна была эта канитель. И вот бах, как кулаком под дыхало: работодатель, который подписывал контракт на гастроли, разорился, застряли в Колумбусе, трупна бедствует, те, у кого были деньги, улетели в Россию. Часть осталась, в том числе и Аркадий с семьей, от добра добра не ищут.

Потом уже, спустя годы, удалось более-менее восстановить подробности их заграничного бытия. Аркадия взяла под покровительство еврейская община, помогла выправить вид на жительство, грин-карту, устроить семью, выбить пособие. Евреи, не то, что мы, русские, своих в беде не оставляют. Молодые сняли недорогую квартиру на окраине Колумбуса, второго по величине города в штате Джорджия. Мариша при своем высшем образовании пошла в услужение, семья богатых баптистов взяла ее в качестве бэби-ситора, по-нашему, нянька при детях, оплата три доллара в час, сводить концы с концами можно. А вот у Аркадия дело не заладилось. Кому в США нужен клоун, пусть даже еврей? У них своих клоунов, да и евреев предостаточно. Пошел в строительную фирму слесарем-сантехником. Это при его-то гоноре, бархатных пиджаках и артистических манерах! Но о том чтобы вернуться в Россию — и речи быть не может. «Мы вышлем вам деньги, дачу продадим! — орал я через океан в телефонную трубку. — Только возвращайтесь!» Зять холодно и сухо ответил: «Григорий Алексеевич, мы сделали свой выбор, так что разговор на эту тему бесполезен». Голос у него тогда еще был твердый, уверенный. Но талант, как известно, не только благо, но и червоточина, душа-то обнаженная, тонкая. На родине Аркадий аплодисменты в цирке срывал, веселил людей, отвлекал от горестей, делал нравственную работу, а тут водопроводные трубы, канализация, унитазы и эти долбаные «джакузи», на которых тронулся умом наш российский обыватель из разбогатевших. У тебя и

автомобиль, и кредит в банке, и сын в престижной школе учится, а внутри пустота, неудовлетворенность, злой звзрек поселился, грызет, высасывает душу. Короче, зятек мой стал попивать, а в Америке это дело не поощряется, с работы турнули, и покатился он под уклон, по буеракам и кочкам, и через два года, пьяный, расшибся о дерево. Я-то думаю, не авария это была, не дорожно-транспортное происшествие: умышленно свел счеты с жизнью Аркадий, чем совершил тяжкий грех. Так и закончилась для него свободная житуха в свободной стране.

Тут бы самое время вернуться Марише с сыном домой, дома и стены помогают пережить беду, но, выходит, не знал я своей дочери, не учел ее характера. Маша метнулась в Колумбус уговаривать: какое там, дочь и слышать не хочет. К тому времени Марина окончила компьютерные курсы, еще где-то подучилась, и ее взяли менеджером в крупный супермаркет. С солидным окладом. А как мужа похоронила, у нее появился бой-френд, и не какой-то там сантехник, а пожилой вдовец, бизнесмен, миллионер — вилла во Флориде, собственный самолет, яхта. Как тут устоять и без того неустойчивому человеку?

Внучок наш Алеша благополучно закончил школу. Дальше учиться не пожелал, устроился кассиром в закусочной «Виндоу» — сеть этих закусочных рассыпана по всему миру, вроде «Макдоналдса». Погоревали мы с Машей, погоревали, да смирились. Точнее, смирилась жена, я — нет. В день, когда получили мы от дочери отлуп, подал я рапорт на увольнение, офицеров тогда не задерживали, тем более что пенсию свою я давно уже выслужил. Без дела не сидел, однокашники пристроили меня в одну фирму, работающую на флот.

Прошло несколько лет — и новый удар. Возвращаюсь однажды вечером, а Маша сидит зареванная, на столе письмо, рядом початая бутылка коньяка. Я ни разу не видел жену плачущей, от страха колени подкосились. Значит, горе. Бытовухой ее не прошибешь.

— Садись, Гриша, выпей.

Я стакан ополовинил, молчу.

Маша слезы платочком вытерла и говорит:

— Я от тебя, прости дуру, многое скрывала, а теперь, считаю, незачем. Внук твой в армию записался, по контракту.

— В какую армию? — от растерянности у меня в голове помутилось.

— Соединенных Штатов, естественно. Спецподготовку прошел, и его в Ирак кинули.

— Быть того не может, чтобы мой внук...

— Может. Ты выпей, сердце побереги. Вот смотри, — и сует мне фотографию.

На фотографии заснят бравый морпех в полной выкладке с автоматической винтовкой. Рядом танк, крашенный в желтый цвет, прямо с экрана телевизора. Лицо у морпеха вроде Алеши, а будто и не его. Самодовольный парень, глаза в хищном прищуре, вроде кого-то уже на мушке держит. Я не сдержался, заплакал. Такое горе накатило, коньяком не разбавишь. У Маши плечи дрожат. Впервые я тогда отметил, что у нее волос седой стал пробиваться.

Крепко я тогда надрался. А утром Маша слегла — сердце. Вызвал неотложку — гипертонический криз, положили ее в Центральный военно-морской госпиталь. Взял я отпуск, три недели мотался на машине в Купавну, где этот самый госпиталь расположен, бульоны наострился варить, фрикадельки на пару готовить. В термосах, кастрюльках возил —

заглотил кормили не охоты, да и диету ей прописали такую, что ноги волочить не будешь. Постепенно оттаяла жена, только осунулась очень и блеск в глазах потух. Что же это делается? Дочь, считай, потерял, а теперь и внука отняли, сволочи. Гвоздила, грызла изнутри мысль, что у меня, боевого командира, внук — американский солдат, Ирак разоряет. Выходит, зря я в автономки ходил, во время «холодной войны» американцам противостоял, а они меня через самое дорогое, семью, голой рукой придушили. И такая на меня тоска накатила — жить не хочется. Маша оклемалась, и к концу зимы опять в Колумбус подалась. Полтора месяца, пока она отсутствовала, я вроде как и не жил, существовал в каком-то ином измерении. О беде своей никому не сказал, даже Левону, ему-то зачем переживать лишний раз, своих бед достаточно, один остался на старости лет.

Человек — существо стойкое, многое может пережить, со многим смириться. Смирился и я. Но дал себе зарок: за океан ни ногой. Не выдержу, лететь назад ногами вперед не резон. Маша, чтобы взбодрить меня, уже не раз подходила то с одной, то с другой стороны. Мол, брось ты принимать эту историю близко к сердцу. Время такое, дети по всему свету разбежались, это их жизнь, их выбор, пусть живут, как хотят. Что это, единственный случай?

Может, и так. И время другое, и случаев таких не пересчитать, а от ощущения, что от меня отсеки часть меня самого, отделаться не могу. И ноет укороченная часть, как ампутированная нога, — ноги нет, а фантомные боли остались.

Я почти лишен воображения. В деле, которым я занимался, это непозволительная роскошь. Хотя и жаль. Например, я не могу представить город Колумбус, где по закону запрещается резать кур по воскресеньям, не представляю свою дочь сорокалетней. Маша утверждает, что Марина очень похорошела, вошла в женскую силу, так же стройна, изящна — аэробика, специальные тренажеры, диета, на которой помешана вся Америка.

Я не могу представить ее в стеклянном офисе огромного супермаркета, отдающей распоряжения многочисленным сотрудникам. Я помню ее неуклюжим подростком на катке, залитом в ЦПКО имени Горького: вязаная шапочка, розовые от мороза щеки, на тонких ножках фигурные коньки. Музыка, снег и огни, отраженные в отполированном льду. Старшеклассница, студентка педагогического института не сохранились в моей памяти. Точнее, сохранились, но как-то общо. Жила, училась, как все, и вроде бы все в ней было ясно. А вот та, новая, Марина, сидящая в салоне джипа «чероки» или позирующая на борту белой яхты, мне чужда и непонятна.

Сколько раз я пытался вообразить ее бой-френда, пятидесятишестилетнего миллионера Джека Галагана — глухо. Рисовался этакий загорелый ковбой с узким, рассеченным морщинами лицом, в джинсах и тexasской шляпе. По утверждению Маши, Галаган — милый, обходительный человек, влюбленный в Марину. Он несколько раз уже делал ей предложение, она пока воздерживается, причина — Джек пьет. «Он может за вечер выпить три двойных скотча», — с усмешкой сказала Маша, повторяя слова дочери. Это что-то около двухсот граммов на наши мерки. Ужасающая картина. Я в компании друзей и сейчас могу усидеть поллитровку «Флагмана», и хоть бы что. Я вполне мог бы с этим Джеком потягаться. Галаган сам водит самолет, управляет яхтой и занимается дайвингом,

То есть подводным плаванием. Интересно, когда он успевает работать? У него, по словам моей жены, огромный и распространенный бизнес: нефть, отели, рестораны, дилеры, брокеры и разные шпокеры. Он мог бы сделать счастливой молоденькую фотомоделю или кинозвезду, но он любит только мою дочь, и в этом что-то есть. Во всяком случае, душа в нем явно присутствует. Видно, я безнадежно отстал от жизни и многого не понимаю. Прими я ценности дочери, наверняка бы мог сейчас фланировать вдоль пляжа во Флориде в белых штанах, покуривая толстенную сигару. Занятая картина. Не могу. И тоже по причине душевного порядка. Меня не переделаешь, и Маша, похоже, с этим смирилась, она перестала показывать мне фотографии, а ее рассказ о поездке в США ограничивается теперь перечнем покупок. Так лучше обоим. Может быть, я и не прав. Мое поколение прожило на ветренном политическом юру, но такие слова, как Родина, Честь, Долг, для меня навсегда остались значимыми. Надо думать, для моей дочери эти слова не более чем пустой звук. Внук — жертва обстоятельств, его так воспитали. Беспорядочные огольцы с площади трех вокзалов в Москве мне более понятны, чем он, морпех армии США.

Связь с Видяево поддерживалась, информация приходила теперь уже от сыновей моих однокашников, и была она горькой и неутешительной. В девяностые годы рушилась страна, рушился и флот. Необузданный президент с испитым лицом вкупе с младореформаторами резали боевые корабли на металлолом, выполняя обязательства перед своими заокеанскими кураторами. При этом размывалось самое главное и ценное — моральные основы флотского содружества, гасли выстраданные веками традиции.

Воровство, стяжательство стали нормой. Вовсю приторговывали и государственные мужи из различных фондов. Лодку 651-го проекта, которой я командовал, способную нести боевую службу, толкнули финнам что-то за сто восемьдесят тысяч деревянных, а те, по слухам, переоборудовали ее в доходный ресторан. Другая субмарина упокоилась в музее американского города Провиденс в качестве символа лихой победы в «холодной войне». А когда погиб «Курск», всему миру открылся гарнизон Видяево с брошенными домами и гигантскими свалками, над которыми кружило воронье и чайки.

Ручеек информации постепенно иссяк, заглох родник — офицеры сотнями подавали рапорта на увольнение, перебирались ближе к центру, чтобы хоть как-то поддержать живучесть семей.

Каково было на все это смотреть морякам, сохранившим совесть и ответственность за судьбу Отчизны? Вот и уходили они один за другим, находя успокоение на погостах, разбросанных по всей России-матушке.

...Стояла предугрениая тишина, в окна затекал серый свет, он заполнял углы, уровень его стал подниматься все выше и выше. И, увязая в нем, будто в желе, я почувствовал, как дом-корабль отошел от причала; где-то внизу, на дне, мелькнуло Новодевичье кладбище, а слева и справа потекли знакомые места: серые скалы с зелеными нашлапками мха, березы, изуродованные ветрами, в голове словно лаг отстукивал знакомые названия: мыс Еретик, остров Зеленый, мыс Толстик. Сигнальщик доложил: «Товарищ командир, пост СНИС не отвечает». «Спят, бродяги!» — засмеялся Левон Горгилян. Я опустил бинокль и скомандовал: «По местам стоять, к погружению!»